Последнее время

Автор:
Шамиль Идиатуллин

Последнее время

Шамиль Шаукатович Идиатуллин

Другая реальность

«Последнее время» – новый роман Шамиля Идиатуллина, писателя и журналиста, автора книг «Убыр» (дилогия), «Город Брежнев» (премия «Большая книга») и «Бывшая Ленина».

На этой земле живут с начала времен. Здесь не было захватнических войн и переселения народов, великих империй и мировых религий. Земля позволяет «своим» жить сыто и весело – управлять зверями, птицами и погодой, обмениваться мыслями и чувствами, летать, колдовать – и безжалостно уничтожает «чужих». Этот порядок действует тысячелетиями, поддерживая незыблемый мир. А потом прекращается. И наступает последнее время.

Шамиль Идиатуллин

Последнее время

Пролог

Сон был горек и невыносим.

Он закричал, чтобы проснуться.

Он проснулся, чтобы закричать.

Ни закричать, ни вдохнуть для крика, ни просто вдохнуть не получилось: Малой закрыл ему нос и рот горячей корявой ладонью.

– Тихо, – сказал Малой. – Тихо.

Он спросонья задергался, пытаясь вырваться. Стало хуже: ладонь, твердая и пахнущая сталью, вдавилась в лицо, плюща губы о зубы и почти ломая нос. Ему ломали нос дважды. Он помнил и больше не хотел. В голове уже шумело, в груди екало, а нижнюю губу прижгло гладким холодком так, что еще немного – и снова будет лохматой и соленой.

Он поспешно закивал – то есть попробовал, голова почти не двигалась.

Малой убрал руку, держа ее на весу, чтобы, если надо, хлопнуть – и губы всмятку.

Он вздохнул жадно, но медленно, боясь свистнуть или хрипнуть. Во рту было горько и сухо. Так лучше, чем когда солено и мокро.

Малой кивнул и спросил:

– Готов?

К чему, хотел он спросить, но губы так и не отлипли от зубов, а горло и язык будто засы?пало морским песком и обдуло морским ветром. Морским, подумал он, пытаясь вспомнить, что это значит, но не вспомнил. Малой сказал:

– Айда. Небо ждет.

Неба не было видно. Ничего не было видно. Всё сверху, снизу и во все стороны было черным, молчаливым и спрятанным: ни земли, ни слишком высоких, достающих до облаков деревьев, ни самих облаков, ни звезд, ни птиц, пчел, мух и всего, что всегда составляло мир – там, где он привык жить. Ну, существовать. Ну, почти привык.

Но небо ждало. Он знал.

Все знали.

Он встал, покачнулся, потому что приучился качаться, встал прочно, потому что под ногами не качалось. Малой как будто видел или просто знал, тут же легонько толкнул в плечо – сюда, – и шагнул сам. Трава шорохнула и замолчала. Чуть дальше скрипнул ремень. Слева тоже донесся шелест одежды.

Они пошли под невидимым ждущим небом – должно быть, неровной цепочкой. Он мельком удивился тому, что умеет ходить по черному, неподвижному и несуществующему, не спотыкаясь и даже не натыкаясь на деревья, – и чуть не влетел в дерево. Лист мазнул по лбу, он застыл, рука Малого взяла его за шкирку и отправила в обход препятствия. Дальше он и сам чуял что-то впереди, что-то справа, что-то на уровне колен, – обходил, перешагивал, подныривал, – и обнаружил, что черное становится серым. Если небо их еще и не дождалось, то они дождались неба, темно-синего и по-мышиному изгрызенного понизу макушками слишком больших деревьев, из-под которых они вышли.

Одна из верхушек прыгнула, распахнулась в черный лист вроде подорожника и понеслась через небо. Он вздрогнул, провожая лист глазами. Малой застыл рядом, прошелестел раз и два, звонко ударила тетива.

Небо дождалось раньше, чем ожидалось. Слишком рано.

Черный подорожник дернулся и рухнул – косо, как наледь со скалы. В воздухе лист был беззвучен, а упал очень звучно, со шмяканьем и хрустом, которые в ночи слышнее крика. И шепот слышнее крика, торопливый и непонятный, но человеческий шепот, потекший от места падения.

На шепот бросился один из них – Рыжий, как-то понял он, даже не видя, – только Рыжий умел бегать так быстро и только Рыжий так умел ножом.

Стало светло и больно глазам. Жмуриться было странно, как идти с отвернутой за плечо головой, а все равно светло и больно. Он открыл глаза и задохнулся.

Деревья далеко впереди и сбоку полыхали черным, неподвижно и страшно. Чужая земля от деревьев и до самых его ног полыхала зеленым и коричневым, лениво шевелясь и будто переползая ленточками, как переползает жар по углям. А небо над землей и деревьями полыхало убийственно белым, хотя оставалось темно- синим. Словно удалось увидеть ослепительно снежную основу толстого темного ковра из главного йорта. Словно удалось увидеть весь мир, в центре которого он существовал и который существовал вокруг него. Весь непредставимо огромный мир – от бесконечного ряда страшных белых солнц за слоями неба до малых букашек в паутине бледных корешков под ногами и до пульсирующих кусочков, из которых эти букашки и корешки сложены. Он видел, он слышал, он чувствовал – ушами, ресницами, пятками, вставшей дыбом холкой, нагревающимися, будто репа в кипятке, глазными яблоками – и не успевал понять, в какие узоры и смыслы складывается чудовищно сложный, разборчивый и четкий мир. Он понял только, что сейчас они умрут.

Это поняли все – даже Рыжий, который стремительно и ловко, но все-таки мучительно медленно и тяжело вскакивал с колен, с земли, от смирно лежащего на спине рыжего паренька в странной белесой одежде, неровно раскрашенной темным, – вышивкой и кровью. Кровь проступала вокруг торчащей из живота стрелы с оперением Малого и толчками плескалась из раны, почти разделившей паренька на две неровных части, от правого уха к левой ключице, тонкой и невыносимо белой под расшитым воротником. Паренек, будто подгоняя выплески, скреб пальцами неловко вывернутой левой руки по краю странной кожистой пластины, на которой лежал. Пластина была похожа на причудливо изуродованное и растянутое седло и светилась отчаянно и не по-настоящему, особенно там, куда натекла кровь.

Паренек, жутко, как братишка, похожий на Рыжего, не перестал шептать, даже когда нож Рыжего с чавканьем рубил ему шею и грудь – просто шептание стало свистящим и булькающим. Лицо паренька было сосредоточенным, точно он не умирал, а на ощупь подбирал подходящий по размеру гвоздик из кучи неподходящих, – а смотрел он на Рыжего. И продолжал шептать, совсем неслышно.

Рыжий наконец выпрямился, чуть наклонил голову к плечу, разглядывая паренька, стряхнул кровь с ножа и чуть увел его в сторону для нового удара, и тут черная зазубренная полоса леса распахнулась до неба и до ног, мир провалился, а паренек, коснувшийся, наконец, пальцами земли, вцепился в нее последней хваткой, улыбнулся Рыжему и вмиг стал темным, лиловым, ненастоящим – весь, даже одежда. Рыжий упал на паренька то ли сам, чтобы добить, то ли от удара, сотрясшего мир, и оба они осыпались лиловой крошкой, словно трухлявый пень, растоптанный лосем.

Он увидел это, хотя снова успел зажмуриться, и сквозь сжатые веки, крича и валясь в черно-зеленую пропасть, видел остальное: что вдали, у леса, стоит еще один рыжий паренек, а далеко за спиной, у реки, по которой они, оказывается, приплыли, присев забавно и пугающе, замер третий, будто нащупывающий разведенными руками и откинутой головой единую плоскость с остальными рыженькими, лежавшим и стоящим, а с противоположной стороны – он ощутил это занывшими на затылке корнями сбритых волос – поднимается на цыпочки и даже чуть выше, всовывая руки в небо, четвертый, такой же рыженький, как остальные, еще жутче похожий на Рыжего, и все одновременно шепчут непонятное, неслышное и страшное, то же, что шептал лилово осыпавшийся паренек, грохотом отзывающееся в небесах и в земле, проворачивающихся в лад шепоту и в лад ударам мира о глаза и ёкающее сердце, и в лад им всхлипывает тетива, вторая, третья, и шикает нож Малого, который уже налетает на присевшего рыженького, а тот улыбается Малому навстречу, резко вскидывает руки – и другие рыженькие вскидывают тоже, будто уцепились за разные края ковра, того самого, снежно-синего, и небо, которое они, оказывается, схватили и держали, переворачивается и падает на мир черной плитой.

Снова дождалось.

Его сшибло твердым и вмяло в твердое, со звоном и искрами, ломая и отдирая всё лишнее, руки-ноги-нос-лицо, холодный глинозем сунулся в дыры на место глаз и носа, ниже стало очень больно, остро, неправильно и снова со вкусом желтого металлического штыря, рвущего губы. Он попытался вдохнуть, хрюкнул, сглотнул жаркую соленую землю с колкими камешками, закашлялся, выворачиваясь и умирая, но не умер, а все-таки вдохнул раз и другой, держась за пылающую и саднящую, но вроде не пробитую грудь, попытался сплюнуть, облизать губы, но не смог, а только располосовал язык об остро сломанные зубы.

В ушах гудело, под штанами было рыхло, под руками – скользко. Поморгал, тряся головой, вытер подолом глаза – их защипало, но стало видно.

Что-то.

Что-то дикое.

Он сидел под серой пустотой посреди темной пустоты. Серая пустота была вместо неба, темная пустота была неровным полем, обыкновенным и почти голым до самого леса – можно заметить несколько лиловых пятен, если приглядеться. От леса мимо лиловых пятен шагали к нему несколько человек в белом, первым – широкий и с длинными косами, растущими из лица. Старик, подумал он. Заплетенная в косы борода была даже белее одежды.

Шевелиться было больно, поворачиваться еще больнее, но он повернулся и постарался рассмотреть, что? за спиной. За спиной было такое же голое перепаханное поле с лиловыми пятнами. На краю одного из пятен лежал круглый камешек, похожий на человеческий глаз, бледно-голубой на белом, как у Малого. Камешек моргнул и рассыпался.

Он всхлипнул, наверное, от боли, и опять посмотрел перед собой. Люди застыли по всему полю, образуя непонятный, но ощутимый порядок, связывавший их друг с другом и с лиловыми пятнами. А косатый-бородатый уже стоял рядом. Руки старика были пустыми, но он уже знал, что это неважно.

Он поднял голову, хлюпнул и сглотнул натекшую горечь, вдохнул последний раз и стал смотреть туда, где раньше было небо.

Старик что-то негромко сказал.

– Тиде йоча.

Это ребенок, подумал он устало. Вот что сказал старик. Они поняли, что я ребенок. Значит, небо не дождется. Не в этот раз.

Он в последний раз посмотрел туда, где раньше было небо, закрыл глаза и лег на чужую, но уже равнодушную и почти нестрашную землю.

Часть первая

Лети легко

1

Серебряный гриб появляется через полторы луны после того, как отходят и прячутся в землю до следующей осени дикие белые грибы, а подкормленные, живущие в теплице, начинают собираться в шары. Серебряный гриб вырастает в дупле или расщелине березы-семилетки, окруженной елями. У него изумрудная ножка и серебряная шляпка, о которую ломается нож. Он лечит любые болезни, оживляет полумертвых, может приворожить любимого парня и свести с ума любую девушку, он делает желаемое действительным и нежелательное несуществующим, он драгоценнее любого лайвуя. Поэтому его не бывает. Поэтому Айви хотела его найти. Она должна была его найти – сегодня. Но отвлекли.

Луй разбудил Айви, когда солнце еще не вышло из-за Верхнего бора. Запрыгнул в изножье, пробежал по ногам и затоптался на груди, урча и пофыркивая.

Айви охнула под когтистыми лапами, пробормотала что-то столь же возмущенное, сколь и невнятное, и попыталась смахнуть негодяя в траву. Луй увернулся, скользнул под покрывало и принялся метаться там, кусая то пальцы, то затылок. Это можно было стерпеть, а вот перебежки по груди и животу и особенно щекотание лица хвостищем оказались, как всегда, невыносимы. Айви восстала с горьким длинным вздохом и замерла, покачиваясь. Луй повисел на ней, расцепил когти, ловко крутнулся вокруг ног и запыхтел, призывая в путь.

– Молодец, – пробормотала Айви, продрав глаза. – Я и сама уже вставать собиралась.

Она провела пальцами по ложу и, не дожидаясь, пока то съёжится до дневного размера и вида обычного сморчка, пошла установленным утренним путем, пусть и в ужатом порядке. Рассиживаться не стала, мыться тоже, хватило и обтирания, переплела косы на пять счетов вместо пятидесяти, одежду для завтрака даже

брать не стала, сразу влезла в дневную, ну и завтрак, понятно, перепрыгнула: выпила туес пророщенного молока, сорвала пару мясных черешков, чтобы грызть на ходу, и упорхнула. Не сразу: она же не зверь и не дикарь. Задержалась у мясного дерева на пять счетов, по каждому пальцу, благодаря за заботу вдумчивыми прикосновениями – и, отпинываясь от развеселившегося Луя, побежала с едальной поляны, пока народ не повалил.

Самый нетерпеливый молодняк уже проснулся и, судя по щебету, пыхтению и стонам, приступил к утреннему единению. Айви обогнула эту поляну стороной, пытаясь не прислушиваться, – но всё же разобрав всех по голосам и обрадовавшись, что Позаная там нет. Это ничего не значило, Позанаю и нечего было делать рядом с крылами, он предпочитал сборища с матерыми, особенно последние луны. Но Айви этого не слышала и не видела – значит, могла считать несуществующим.

Айви была свободна до вечера, когда предстояло закладывать осеннюю одежду на дозревание. Но ей было неловко идти с утра прочь от яла и от мест общей работы. Неловкость злила. Айви быстренько поругалась с собой и двинулась в сторону Смертной рощи. Обычно Айви, как и все, обходила рощу, рядом с которой пробегать-то жутко, не то что углубляться. Зато там точно никто не нападет с ненужными предложениями или пустыми вопросами. Вот Айви и решила сре?зать через нее к берегу – самым решительным шагом, насколько позволял Луй. Он ласково покусывал за щиколотки и норовил, чуть замешкаешься, влезть на плечи, сунуть голову под платок и меленько-меленько выгрызать косы.

У первого спотыкача Луй отбежал и потерялся из виду – видимо, отвлекся на мышей. А Айви остановилась и прислушалась – и правильно сделала.

В роще кто-то бродил и переговаривался. Не птены или малки, на которых можно наорать и выпинать прочь, и не подстарки, которых лучше обходить стороной, а то заболтают до смерти. Судя по белым одеждам, строги или даже старцы.

Айви постояла, прислушиваясь, ничего не услышала и сдуру чуть было не прильнула к крайней осине, с которой в свое время наладила нормальные отношения – ну, насколько могут быть нормальными отношения с осинкой-самосевом на окраине плохого места, – но вовремя спохватилась. Касаться Смертных или околосмертных деревьев, даже невесомо или мысленно, – опасно,

а в присутствии старцев – чревато: сочтут это излишним и сделают тебе общий отказ, сплошной и долгий – на луну, если не на три.

Старцы не волховали, не ворожили и даже не поминали какую-нибудь незабвенную для всех, кроме Айви, луну. Они застыли меж редкими деревьями неподвижным клином, глядя, как два крыла в строгом водят по роще кого-то малозаметного, одетого не в белое, а еще кто-то, в чуть лучше различимом издали, но откровенно ритуальном синем, неподвижно стоит рядом со старцами, как привязанный. Отдельно стоит.

Айви нерешительно приблизилась, пытаясь не обращать внимания на обычный здесь сырой смрад. Старцев было трое, малый серьезный состав, аж с Юкием во главе, но что-то в этом было неправильное – что?, Айви не могла сообразить то ли от запаха, то ли от крадучести. Юкий взглянул на нее через плечо – не взглянул то есть, а, как у него была принято, показал, что видит, – и снова уставился на крылов, недовольно поводя бородой. Айви поняла это как разрешение подойти и осмелела.

Крылы водили меж неприятных, как-то по-рыбьему костистых деревьев самого неинтересного для Айви человека. Если Кула, щербатого овцепаса-чужака с выселок, можно назвать человеком.

В синее была одета Чепи, наглая птаха Перепелок. Она была старше Айви всего года на три, но не общалась ни с ней, ни с другими Гусятами. Чепи считала себя слишком умной и ладной, чтобы замечать соседей, от которых не получишь ни жениха, ни подкорма, – тем более соседского подроста. Зато Гусята знали ее очень хорошо и не пропускали ни единого повода поиздеваться над грудастой дурехой. Замануха Чепи на свидание с одмарским сватом, который оказался выменянным на пчелиную семью кабаном-производителем, уже вошла в песни, как и подмена Чепиного листа грез на лист прижигания. Вопила она тогда на весь ял.

Но сейчас издеваться над Чепи не хотелось. Чепи выглядела очень несчастной и больной, наперекор многосложному синему платью до пят, которое надевали сугубо на праздники, общую волшбу и редкости вроде дополнительного освящения или суда. Предельно издевательской выглядела толстая светлая нить на шее, кажется, металлическая, возможно, золотая, да еще с грузной подвеской, которая, впрочем, не висела, а лежала на огромной груди – так, что блестящий камень смотрел в единственное на небе облачко.

Суд, поняла Айви и перестала дышать. На судах она еще не бывала. Никто из Гусят не бывал. Она первая, значит.

Айви потихоньку сместилась за спину Юкия и встала за прикормленной осинкой, надеясь, что та прикроет ее и без отдельной просьбы. Хотя бы от комаров, которые звенели в Смертной роще всегда, перекрикивая даже февральскую метель. И кусали они свирепей прочих. И ничего ты с ними не сделаешь: в Смертной – нельзя.

Чепи, Юкий и остальные смотрели на Кула. А тот смотрел в сторону Перевернутого луга и невидимой ему реки, уныло и не устало даже, а изможденно, как кузнец вечером или цветарь утром. И без того тощее лицо и фигура его, облепленная и окольцованная дикарской одеждой, многосоставной и перехваченной ремешками, казались серыми и высушенными. Крылы рядом с ним просто лопались от спелости, румянца и важности. Не каждый день выпадает послужить при суде хотя бы приставами. Да еще и сбежать по этому поводу с мясного, одежного или иного завода, где с утра до вечера приходится сплетать, завязывать и проращивать основы пищевых, полотняных, летательных и прочих волокон, и так почти всю жизнь, если не возьмут мужем в соседний народ, где придется учиться лепить других помогателей на каком-нибудь костяном, муравьином или кожном заводе.

Юкий шевельнул рукой, и один из крылов, вроде как Вайговат, очень уж крупный, – вторым был, кажется, Озей, бедолага, вечно его с силового подроста срывают, – ткнул Кула в плечо. Тот глянул на Вайговата с досадой и что-то пробормотал. Айви не услышала, никто не услышал, кроме Вайговата, который покраснел и попробовал ткнуть сильнее, но промахнулся: Кул ровно в этот миг покачнулся – ну или ловко уклонился. Хотя вряд ли: Кул был неловким, медлительным и откровенно туповатым уродцем без рода, крови, способностей и, получается, умений. Овцепас, одно слово.

Вайговат, впрочем, был немногим лучше, хоть и своим: толстоват, туповат, неумел, к тому же с ужасным голосом и слухом, от чего искренно страдал. Петь любил очень. Его в Круг мужей и взяли, чтоб хоть какая-то радость у глупа звонкого была, подумала Айви и устыдилась недоброй мысли.

– Здесь? – спросил Юкий очень сдержанно и терпеливо.

Кул метнул на него неприятно черный взгляд, кивнул и уставился себе под ноги.

– Дерево покажи, – велел Юкий.

Кул шевельнул пальцем в сторону лиловой до дрожи ели. В Смертной роще почти все деревья, кроме четырех рослых берез по краям, были гадостно неправильными, но эта ель вызывала глубокое омерзение с полувзгляда. Айви догадывалась почему.

– Потрогай, – велел Юкий тем же тоном.

Кул поспешно убрал руки за спину и сложил ту самую рожу, за которую его дразнили не только Гусята и Перепелята, но все птены соседних ялов и всего края. Да не только птены.

– Укусит, – негромко сказал Мурыш, стоявший рядом с Юкием.

Юкий и сам сообразил то ли это, то ли что-то иное, и сказал уже помягче:

– Ладно, понятно, эта ель. Что рядом творилось?

Кул тупо смотрел себе в ноги. Чепи громко всхлипнула и дернулась, будто хотела бежать, а руки-ноги связаны. Но не была она связана, и чар никаких не было. Кривляется, подумала Айви с вновь поднимающейся неприязнью. Кул покосился на Айви и опять уронил голову. Говорить он, похоже, ничего не собирался.

Вайговат еще раз ткнул Кула в плечо. Вернее, попытался ткнуть и чуть не упал: Кул снова будто случайно убрал плечо, а стоявший рядом Озей не придержал напарника. Тут даже Айви поняла, что подряд таких случайностей не бывает, и сделала пару шагов, чтобы видеть и слышать побольше. Вайговат глуп, от него нечего ждать, кроме надрывного уныния и кривых песен, еще и драться норовит, как ребенок, а вот с Кулом выходило забавно.

И тут Айви поняла, что? ей казалось неправильным. Суд над птахой без Матерей, просто без жён или птах не считается. Может, поэтому Юкий ее подозвал?

Еще не хватало, подумала она и спешно выскочила к Лую. Тот, наохотившись, отыскал хозяйку, но войти в Смертную рощу не мог, поэтому чихал, пыхтел и ныл возле той самой осинки, поражавшей его с наименьшей силой – он ведь тоже чуть-чуть Гусенок, пусть и куница. Успокоить Луя не удалось, уговорить вернуться домой – с большим трудом. И самую захватывающую часть Айви пропустила.

Она скользнула вглубь Смертной рощи, когда Чепи уже явно рассказала все про подготовку и теперь трубно, отвлекаясь на сморкания, вздохи и выразительные взгляды на Юкия – нашла кого жалобить, дуреха, еще бы грудью к нему прижалась, – выкладывала подробности приворотной волшбы, которую творила здесь вчера, захотев вдруг в жёны не в Змеиный ял к знаменитым шувырзо-волынщикам, почему-то относящимся к Перепелкам без любви, и даже не к соседским Совам, с которыми давно было сговорено: сама же Чепи Мать-Перепелку и уломала сговорить, год уламывала, усердно, нудно, с рыданиями и нарочито неудачными побегами, – а к Лосям.

Тут Айви вздрогнула: ведь Лоси жили далеко в восходной стороне, за Камом и перед землями одмаров и кам-маров, еще не запретными для мары, но уже не обетными и даже не двоюродными, и не было бы ни у Чепи, ни у кого-то еще повода помнить об этом, кабы не Позанай, который улетал мужем именно к Лосям. Уже завтра.

Конечно, Чепи могла свербить придуманная в детстве страсть к одмарам, но Айви не верила, что глупые страсти и желания способны жить так долго. По крайней мере у Чепи. У Айви-то все иначе.

Айви вообще другая.

– Я же плохого не хотела ничего, даже ленточку не повязывала, вот тут ее положила, на всякий случай, просто тут вот встала, этим коленом сюда, этим сюда, и вот так прижалась…

– Рыла зачем? – спросил Юкий тяжело.

Чепи всполошилась:

– Не рыла! Не рыла, ты что! Пальцами просто воткнулась, когда вот так встала…

– Мочилась? – весело спросил Мурыш.

– А? – спросила Чепи туповато, и Айви замерла, сама не зная, чего боится больше – что эта глу?па признается или что она впрямь мочилась здесь, плевала или пускала в корни Смертной рощи еще какую-то жидкость, кровь, хорошую или дурную, но свою – и, что куда страшнее, Перепелиную. Живую кровь мары. – Нет, что ты, – всполошилась, к счастью, Чепи, к счастью же, вроде искренне, – я ж не малка совсем! Не мочилась, не текла, голым не трогала. Даже вслух не просила, просто…

– Просто на сто счетов присела по-ворожейному в смертном месте, – сказал Юкий мрачно и посмотрел на нее, затем на Кула.

Чепи поймала его взгляд и взвизгнула, тыча в Кула:

– Да врет он всё! Он и считать не умеет, и врет всегда! Что овцу тогда другие овцы задавили, врет, что не помнит ничего, врет, что сам он человек – врет!

И запахло от Чепи недобро, корнем смородины.

Кул поднял взгляд на Чепи, и та, кажется, не хуже Айви сообразила, что зря она всё это сейчас сказала и что лучше бы ей вот тут и заткнуться. Но Перепелки разом останавливаться не умеют, а Чепи среди них была самой размашистой и неповоротливой.

– И сюда он тоже постоянно заходит, иначе как меня увидел бы? Сам и ворожил, хоть и скрывает, что умеет, а сам против всех мары плетет, своих разбоев кормит и от них ворожбу с волшбой против нас питает, а потом!..

– Молчи! – велел Мурыш уже не добродушно, запах смородинового корня опал, и Чепи заткнулась, но не от приказа, а от испуга: Кул шел к ней, легко обойдя Вайговата и Озея, пытавшихся перекрыть ему дорогу. Чепи попятилась было, выставив левую руку для заградительного жеста, в Смертной-то роще, во глупа, но, как и остальные, сообразила, что Кул не наступает на нее, а просто направляется прочь, в сторону холма и пастбища за холмом, и снова распахнула рот, но сказать ничего не смогла – коротко взвыла и заткнулась.

Запахло щавелем.

Айви оглянулась вместе со всеми – ну да, так и есть. К роще подошла Мать-Перепелка.

Как всегда тихо, с неожиданной стороны, встрепанная, прихрамывающая и будто только что от плотно заставленного посудой и снедью очага, откуда без поклонов, приседаний и протискиваний не выбраться – хотя у Перепелок даже в древние времена самодельных домов стряпная была не только отдельной, но и просторной настолько, что эхо за эхом бегало. Мать-Перепелка полюбовалась на то, как сработало ее издали брошенное в дочь заклятие, чуть не отдавила хвост порскнувшему прочь Лую, едва не сшибла Айви, небрежно кивнув ей на ходу в знак то ли извинения, то ли приветствия, и поперла к Чепи, вытирая испачканные мукой руки о передник. Поперла вроде бы прямо сквозь подкустки и на деревья, но не оборвав ни листочка, не погнув ни ветки, даже не шелестнув. Перепелка. Мать. Матерая.

Лишь на миг она показным, даже издевательским образом остановилась, чтобы пропустить Кула, который миновал ее, не поднимая глаз.

Кул ушел прочь, опомнившийся Вайговат бросился было следом, но остановился, чуть не упав, чтобы не налететь на Мать-Перепелку, и все-таки упал, будто сбитый жестом Юкия, но на самом деле только от старательности и подобострастия. Юкий просто показал Вайговату, что Кул может идти.

А Мать-Перепелка в три шага оказалась перед Чепи, встав на цыпочки, поправила ей выбившиеся из-под синего платка волосы, повела, не касаясь, ладонью над подвеской, вздохнула, дернула за рукав и пошла прочь, домой. Чепи поплелась за ней, пытаясь что-то сказать, но лишь краснея от натуги и безуспешных попыток сложить мычание в слова.

Со взрослыми так обращаться нельзя, особенно с птахами. Воздастся. Но что делать, если дурная и если наговаривает угрозу на весь род.

Все равно лучше бы Чепи на глаза сейчас не попадаться, подумала Айви, отвернулась и сделала стойку постороннего, в которой все мары на первый взгляд одинаковы – а второй взгляд Чепи, будем надеяться, не бросит.

Луй, молодчик, тоже понял ситуацию и упал на бок, чтобы сверху выглядеть полоской темного меха, и поди различи, куница это, ласка или хорек – в яле, на заводах и производственных постройках живности полно, мышей бить, нечисть гонять да с малыми сидеть, всех не узнаешь и не запомнишь.

Чепи прошла, вроде как не вглядываясь, и запах от нее плыл просто злобный и растерянный, а не предупреждающий. Пронесло, значит.

Айви дождалась, пока улягутся запах, звук и колебания земли, тоже, оказывается, заметно раздраженной, вышла из стойки постороннего и огляделась. Чепи уже не было видно, Матери-Перепелки тоже, но тут ничего исключать было нельзя: в малиннике, от которого начинался спуск к реке, что-то порскнуло и пробежало, а чуть дальше с шумом поднялась и легла на крыло небольшая стая чибисов, у которых с перепелками был давний уговор. И Кула не видно, не слышно, и запаха его чужого не осталось. Айви вдруг вспомнила, удивляясь, что замечает такие ненужности, что от Кула только что пахло клевером и овсяницей, точно он вытирался травой после вечных своих купаний. Может, так и было, подкидыши на всё способны.

Айви стало слегка неловко, будто Мать-Перепелка или Юкий могли услышать ее мысли и передать, например, Матери-Гусыне. Та расстроилась бы. А они могли, между прочим. По крайней мере, Юкий точно мог – вон как уставился на Айви.

– А где Арвуй-кугыза? – требовательно спросила его Айви. Первое, что пришло в голову, просто чтобы сбить Юкия с излишней проницательности.

Тот сбился не сразу – похоже, не пялился он на Айви и не вслушивался в ее мысли, чего все равно не осилил бы, а думал о чем-то, пока остальные почтительно молчали. Так что Айви пошла себе потихоньку, но снова чуть не кувыркнулась через Луя, который петлял между ног, выдавая почти беззвучное шипение во всю пасть и во все стороны.

Айви остановилась, чтобы из вежливости дождаться не очень нужного ей ответа. Она уже год собиралась забежать к Арвуй-кугызе, главному старцу яла, чтобы расспросить про чужаков, отдавших веру не земле, а небу: какой в этом толк и как они целы до сих пор, даже если небо и солнце им помогают – жить-то приходится на земле и землей. Но летом, когда Айви вдруг погрязла в рассуждениях, Мать-Гусыня гоняла всех малок и птах по заводам и

производствам. Осенью случился страшный урожай, так что на заготовку вышли даже сопливые малки и птены, пока бабки шептались, что это не к добру, а мужи и даже некоторые матери мотались по соседним ялам, где тоже надо было вот прямо сейчас собрать и заготовить выпростанное земным нутром. Весной были испытания, после которых Айви вышла на ежевечернюю варку одежды. А вчера она узнала, что Позанай улетает. И весь день, весь рабочий вечер и полночи думала, как его остановить. Придумала – и побежала за грибом. А теперь стоит здесь, глу?па невыросшая, и на ерунду время тратит, как будто не успеет забежать к Арвуй-кугызе попозже.

А вот не успеет, узнала вдруг она еще до того, как Юкий ответил. Узнала, а не поняла – ни сразу, ни когда Юкий сказал.

– Уходит, – Юкий сказал.

Айви не понимала еще удар, и два, и три. Четвертого не было, сердце остановилось. Луй оглянулся на нее, уперся пышным хвостом ей в лодыжку и уже звучно и с настоящей угрозой зашипел на Юкия.

Айви с усилием вздохнула и отрезала очень спокойно и очень уверенно:

– Нет.

Юкий взял косицу бороды в щепоть и коснулся ею усов. На Айви он смотрел с жалостью.

Что делаешь, глуп, не то произнесла, не то подумала Айви, он же живой еще. Он ведь только уходит, предпоследнее время.

А я стою. А я собиралась гриб искать. Зряшный. Приворотный. Лечебный.

Который полумертвого оживит.

Айви быстро обмахнулась рукавом, убирая запах нежелания разговаривать, и через Перевернутый луг помчалась к берегу.

2

Особые травы росли на Заповедном острове, тянувшемся вдоль берега и каждую засуху норовившем, да так и не умеющем присоединиться к берегу хотя бы тонкой перемычкой. Особые грибы, стало быть, тоже имело смысл искать именно там. Летать на остров было не положено, бегать на водоступах тоже, лодки не приветствовались. Только вплавь. А в основном вброд. Это недолго. Ну и в лесу дел до вечера: остров гораздо крупнее, чем кажется с берега и с реки, откуда его почти не видно, он даже на картах шестипалых не обозначен, но коли не отвлекаться от поиска нужного дерева, до ужина можно управиться.

Это если начать.

Айви так и не начала. Даже в воду не вошла.

Сперва проскочил лайвуй шестипалых – быстро, как всегда, но был он неимоверно длинным: Патор-утес уже скрыл первую лодь, а из-за Сухого мыска еще только вываливались лоди желтого, срединного звена, со специями и семенами. Айви нетерпеливо переминалась, не обращая внимания на крики, свист и помахивания, самые разные и не слишком неожиданные для бесштанных, с борта: шестипалый до старости щенок, внимание на него обращать можно, лишь если заняться нечем, а Айви спешила. Луй понятливо стоял рядом без шума и почти без суеты. Но на последние, белые лоди, естественно, сделал стойку и принялся рваться к воде: сырым мясом, костными вытяжками и основой причудливых подлив даже сквозь запечатанные трюмы и речной ветер несло так, что и у Айви желудок заурчал с подсвистом, чего уж о несчастном куне говорить. Пришлось держать глу?па за загривок, старательно отворачивая его морду от русла. Шестипалость, конечно, веселилась и подзуживала, ладно хоть трюмы не распахивала. Помнит, чем такие вещи кончаются. Еще Айви не родилась, когда первый и последний раз так пошутили – а эти помнят. Такое забудешь. Русло до зимы вычищали, виру десять лет и зим выплачивали, а загрызенные утопленники, говорят, до сих пор шлялись в низовьях Юла до самого Сакского моря. А запрет на заход мары в воду, пока виден лайвуй, стал жестким – за такое не временно, а навсегда отказать могли.

Айви это помнила лучше многих, поэтому, подхватив упорно выскальзывающего Луя, отошла подальше от воды и соблазна, села у первого из трех ежевичных рядков спиной к Юлу и старательно считала ветки на медном дереве – одно оно осталось на месте рощи, в которой три лета назад вырастили оснастку для

силового узла. А это вот недоросло, так что оставили его на запчасти и на радость птенам, которые откусывали черешки и плели из них плетки и сетки силы: подвязывали к листам и тыкали друг друга в шею или ладошку, щелкала искра, белое пятно не сходило три дня, если Сылвика не увидит.

Ежевика еще не доспела, да и не стоит есть ягоды в лугах и лесах, они не для людей. Ничего интересней медного дерева перед глазами не было: Перевернутый луг, холм, подрост железной и никелевой рощ, посаженный, как принято, рядышком, еще до рождения Айви для ее внуков, дальше два болотца, кислое и щелочное, вырубка под отдых и просяное поле до самого Нового леса.

За лесом тоже не было ничего интересного: опять поле, новый торфозавод с не убранными до поры земельными речками, по которым всю весну от старого, разобранного уже завода, болот и силовых узлов скользили к выращиваемым производственным участкам сырье и строительные снасти, за обычными болотами – лечебные, дальше Верхний бор и бесконечный Вечный лес, а за ним остатки граничной, а на самом деле безграничной гари, до края которой из всех Гусят долетала одна Айви. По глупости. Вернее, на спор с Позанаем. Высосала три крыла, причем последнее просто убила, Мать-Гусыня с нею два дня не разговаривала. Еще и потому, что все равно энергии не хватило, Айви рухнула в Вечный лес и два дня шла пешком, распугивая обалдевших от такого нарушения незыблемых порядков глухарей, кабанов и лис. Получилось забавно, но перед Матерью стыдно до сих пор.

Поэтому, досчитав ветви – двадцать три, – Айви посмотрела налево, в сторону Смертной рощи, яла за нею, дымков раскочегариваемых на полную пивоварни и медокурни между ними, посмотрела направо, за Овечий пруд, откуда несло свежим жаром от мясозавода и прелым – от навозного, где листы и палочки заряжались силой, заскучала и глянула через плечо. Последняя, алая лодь, катнув подводным крылом прощальную волну к берегу мары, убирала длинную корму за Патор-утес. Можно бежать.

Айви вскочила, Луй пролился сквозь пальцы, стек к линии воды и затоптался, поглядывая на Айви.

– Сейчас, сейчас, – сказала Айви, развязывая ворот. – Успеем… Ах ты пепел в глаз. Стой.

Она поспешно завязалась, отступая обратно к ежевике, хотела шикнуть на Луя, но он сам всё понял или почуял – примчался, беззвучно шипя, и засел меж ступнями Айви, для убедительности придавив их передними лапами – чтобы не сбежала без него. Айви, вздохнув, опустилась на корточки, сорвала несколько ежевичных листков и стала с досадой их жевать, прищуренно поглядывая на Юл. Сидеть ей так предстояло счетом до пятисот. Быстрее тихая лайва из видимости не исчезала.

Тихая лайва проплывала по течению каждый день, обычно днем, иногда ближе к вечеру. Она была большой и очень старой. Старым, серым и трухлявым было дерево, из которого лайва построена. Старой и давно не использовавшейся была ее разновидность, парусная двухмачтовая, без усилителей и крыльев. Старым и тревожным, как в учебном сне, был ее облик с длинной надстройкой между обломками мачт. Старым, пыльным и гнилостным был запах, шедший от лайвы.

Тихая лайва появилась при предыдущем Арвуй-кугызе, и обратили на нее внимание не сразу. Мало ли что проносит мимо Юл. Он длинный, великий и просторный для всех, от картавых шестипалых и бесштанных носачей до подводных змеев и божьих свадеб. Кому какое дело до стронутой вдруг с затерянной мели лайвы, ватага которой давно умерла, и дети ее умерли, и дети тех, кто ждал и отправлял груз, тоже умерли, а груз и сгнил, и высох, и прилип тонким слоем к сгнившему настилу. Много было таких лайв, и других лайв, лодей, скипов, кнуров, руси и лодок: груды вдоль берегов, плавучие кладбища, засыпанные досками и костями донные слои морей, бочки и озёра растворенных в пресной и соленой воде крови, слёз и железа людей, отрядов, поколений и народов. Таких было много, а эта была одна. Одна и та же, каждый день тяжело проползавшая от Патор-утеса к Сухому мыску, когда быстро и будто нацеленная опытным рулевым, когда болтаясь по руслу, вертясь и норовя зацепить обломанным носом берег – но всякий раз проскакивая оттуда, где ее никто не видел, туда, где ее никто не увидит.

Тихая лайва существовала только на участке Юла от Патора до Сухого. Лайвуй, пролетевший сейчас к марывасам ночной стороны и дальше к норгам, руси и другим шестипалым, ее наверняка не увидел. А об угрозе столкновения и говорить не приходится. Нельзя столкнуться с тем, чего не существует, – а в том, что на других участках Юла, Кама и Сакского моря тихой лайвы не существовало ни каждый день, ни в какой бы то ни было из дней, сохранившихся в памяти и увиденных глазами человека или словоохотливого бога, мары убедились после первой же потери.

Потерь было много. Слишком. Сперва они были случайными: волна от тихой лайвы дошла до гонявшего подлещиков птена и накрыла с головой, друзья бросились выручать. Всех, к счастью, спасли, хотя гонец подлещиков еще год не выносил воды: кожа шла волдырями, от питья рвало кровью, пришлось мыть и выпаивать березовым соком и выгонкой из разных живиц. Мары принялись разбираться, что это каждый день плывет мимо их земли и почему оно такое страшное, – и стали гибнуть прицельно и безвозвратно. Тогдашний Арвуй-кугыза запретил птенам и крылам пытаться забраться на лайву после первой же лодочной вылазки пары Гусят – их лодку с обожженными телами прибило к Сухому мыску. Но птахам он запретить ничего не мог. Пока собрал Круг матерей, успели сгинуть трое – Перепелица и пара соседских Сов, пробовавших передвинуть стреж Юла на сотню локтей, чтобы посадить лайву на мель. Их удалось хотя бы отчитать и похоронить. А вчерашнюю малку-Перепелицу Амуч, глупую и отчаянную, два лета назад попытавшуюся без всякой волшбы спрыгнуть на лайву с Патор-утеса на крыле, так никогда и не нашли.

Тем каменнее был запрет.

Да Айви и без запрета в воду, по которой ползла тихая лайва, не сунулась бы. Она ширканутая, но не глупее Луя – а Луй твердо попирал ее бегунки, всем видом показывая, что ни сам к реке не пойдет, ни Айви не пустит, пока эта зараза не уползет из виду.

Жаль, солнце ползло к зениту немногим медленнее тихой лайвы, а после полудня прячутся до полуночи все особые грибы, и Серебряный первым.

Тихая лайва медленно прошла мимо, чуть шелохнув туда-сюда носом. Доски на бортах расползлись, гнилые снасти, свисавшие с обломков передней мачты, медленно раскачивались, а мачта поскрипывала им не в лад, и куцая неровная тень, приклеенная к воде под лайвой, будто чуть подрастала и выпрастывалась из-под тесного борта, ближе к берегу, к ежевике, к Айви. Под горлом проступила и потекла в стороны слабость, в ухе зазвенело, солнце прыгнуло по ресницам и влилось в глаза, заставив зажмуриться, и тут же ужалило щеку.

Айви вздрогнула, будто проснулась, и шлепнула по щеке. Она рассмотрела чистую ладонь, возмущенно цокнула в сторону праздно болтающихся над рекой стрекоз, оглянулась на ял, шепнула и коснулась пальцами травы.

В ухе снова зазвенело. Айви отмахнулась, вскочила, чуть пошатнувшись, и замерла. Было странно: слабость подтянулась к голове, закружив, а внизу живота ныло иначе, вполне знакомо. Луй прыгнул к реке, тявкнул вслед почти скрывшейся из виду лайве, вернулся и выразительно понюхал штаны Айви.

– Поняла уж, – проворчала Айви, уклоняясь от пары стрижей.

Они домчались наконец от яла, выбили нескольких комаров, имевших наглость напасть на Айви, взмыли к солнцу, шуганув бездельниц-стрекоз, сделали широкий круг над Юлом и тем берегом, но так, чтобы не приблизиться к лайве, пискнули, обозначив, что задание выполнено, и умчались к застрехе Птичьего дома.

Айви посмотрела вслед им, вслед лайве и обмерла. На корме стоял кто-то в светлой одежде и тянул руку к Айви, распялив рот. Айви поспешно шагнула, чтобы рассмотреть получше, и застыла. Лайва уже ушла за Сухой мысок, а ощущение в животе оказалось не просто ощущением.

Надо было возвращаться. В таком состоянии ни в Юл, ни в лес входить нельзя, да и особые грибы найти невозможно. Ну и любые новые знания лучше сразу нести Матери-Гусыне. Способность лайвы на расстоянии вызывать у птах не только временные, но и месячные недомогания аж на неделю раньше положенного срока, могла и не относиться к новым и важным знаниям, но это пусть Мать и Круг решают. А Айви теперь от лайвы бегать будет, и пепел стылый на то, кто там на корме и что там внутри за чудеса. Айви со своими чудесами разобраться бы.

Она осторожно присела, распустила пояс, выдернула из него нитку, капнула на нее из рукава сушителем, дунула, коснувшись травы и пошептав, как надо, и быстро, пока нитка не раздулась, сунула ее в штаны. До яла хватит. Как бы я без такого пояса, подумала Айви и, ухмыльнувшись, придумала как – с помощью Луя.

Луй посмотрел на Айви с подозрением и рванул через луг. Подслушивает все-таки мысли, негодяй, надо в ответ научиться, решила Айви, бросила последний досадливый взгляд на Заповедный остров и пошла к ялу.

– Я хотела Серебряный гриб найти, – помолчав, призналась Айви.

Мать-Гусыня улыбнулась, как умела только она. Айви, вздохнув, продолжила:

– Арвуй-кугыза уходит, знаешь же? Ну вот.

– А тебе про Арвуй-кугызу кто сказал? – уточнила мать.

– Юкий.

– Воспитываешь их, воспитываешь, – проворчала Мать-Гусыня. – Не так же надо. Ну ладно, сказал и сказал. Не в яле хоть?

– Нет, в Смертной роще, они там Чепи…

Мать-Гусыня показала, что про это говорить не надо, и так знает, очевидно, и рассеянно уточнила:

– А в Смертную рощу ты просто так пришла, не по пути за грибом?

Айви, покраснев, решительно сказала:

– Неважно.

Мать-Гусыня, кивнув, погладила ее мягкой теплой ладонью, как маленькую, от затылка к носу. Айви аж поёжилась от нахлынувшего ползункового ощущения.

– Ой птахи-птахи, чего ж вам не летается. Позаная не удержишь, а вернешь, всем хуже будет, особенно тебе – ну и ему тоже. Себя не жалко, его пожалей.

– Я за грибом шла для Арвуй-кугызы, – очень медленно и четко выговорила Айви, глядя Матери- Гусыне между подбородком и бусами из привозных ракушек и косточек диковинных ягод. – И ему бы отнесла. А не могу. Потому что у меня кровь. А надо принести. Скажи другим, чтобы принесли.

– Дочка, Арвуй-кугыза сам уходит, – сказала Мать-Гусыня ласково. – Его время пришло. Нельзя уходящего за руки хватать.

– А мы как без Арвуй-кугызы? – спросила Айви.

– Не бывает мары без Арвуй-кугызы. Новый будет. Мы так живем. Мы мары. Мы не берем чужое и не платим за чужое. Ни мехами, ни хлебом, ни золотом…

– …Ни железом, ни детьми, – утомленно подхватила Айви заученное в молочном возрасте. – Мы не товар, мы мары. Мы не убиваем, не продаем, не подчиняемся и не отступаем. Мы ростки земли, дети богов, сёстры птиц и матери мира, мы решаем сами и отвечаем за себя, наш живот – Мать, наша рука – Арвуй-кугыза, он умирает ради нас и живет ради нас – всегда.

Мать-Гусыня кивнула.

– А этот… – Айви попыталась вспомнить имя Арвуй-кугызы, но не смогла. Вряд ли она его когда знала. Да и неуважение это – называть Арвуй-кугызу именем, от которого тот отказался, как отказался от остального человеческого, став просто самым старым мары и самым молодым богом. Айви махнула рукой и продолжила:

– Нам он что есть, что нет, да? Тебе его совсем не жалко?

– Ну что ты, дочка, – Мать-Гусыня снова погладила ее, как ребенка.

Айви не успела отшатнуться, а от следующих слов замерла. Следующими словами были:

– Он же тятя мой.

Так нельзя говорить. Не бывает у мары личного отца и матери, они ведь не штаны, чтобы одному принадлежать.

Айви нерешительно подняла глаза, рассматривая широкое лицо, смешной нос и до сих пор пронзительно-голубые глаза Матери-Гусыни, такие же, как у Арвуй-кугызы, всхлипнула и сказала:

– Ну вот. Как ты можешь?

– Его время настало. У каждого должно быть всё время – первое должно быть, лучшее должно быть, и последнее тоже. Такое красть нельзя.

Айви заплакала.

За огородившей поляну дикой малиной заскулил, шумя ветками, Луй. Мать-Гусыня махнула в его сторону платком, успокаивая, обняла Айви и некоторое время бормотала на ухо: «Он устал, тятя мой, знаешь, как устал, какой человек такое вынесет, столько лет за всех и вместо всех, и не пожалуешься, и не поплачешь, сама представь, нельзя его держать, да еще через силу, а боги ждут, Арвуй-кугыза если не придет, никто из ста пятидесяти уйти не сможет, а они же тоже устали, все-все, гусенок, земля с нами, нам над нею лететь, над нею и покоиться, под его крылом, на его кости, с его кровью, тщ-щ-щ, всё, успокоилась? Пошли к Окалче».

– Зачем еще? – шморгнув, спросила Айви.

Окалче была исправительницей женской части.

– Посмотрит, что у тебя за сдвиг такой. И Сылвику попутно прихватим. С Чепи она, думаю, уже закончила.

Сылвика была врачом и самым тонким знатоком волшбы, чуявшим ее через версты и недели.

Айви кивнула, поднимаясь, и тут сообразила:

– Так это Сылвика Чепи услышала? Ну, что та в Смертной и волошит?

Мать-Гусыня задумчиво смотрела на Айви, ожидая продолжения. Айви пояснила:

– Я думала, ее Кул выдал.

– Ну что ты. Он никогда никого не выдавал и не выдаст.

– Но тут-то надо было, так ведь? – неуверенно спросила Айви, дождалась кивка и заметила: – Ну вот. А ты говоришь, не чужой.

– Он наш, – отрезала Мать-Гусыня. – Что ж вы не вырастете никак, простых вещей не понимаете.

– Пошли к Окалче, – сказала Айви.

Спорить с Матерью-Гусыней она не собиралась, тем более о подкидыше из перебитого отряда дикарей-убийц. Не о чем тут спорить, разговаривать и задумываться.

Мать-Гусыня по доброте своей и по месту, которое занимала, могла как угодно относиться к щербатому уродцу, дополнительно уродовавшему себя лысиной и оберткой вместо одежды, но Айви-то в выводках разбиралась. Кто растет пегим да кривым, тот пегим да кривым и вырастет.

Ни Окалче, ни Сылвика не сообщили ничего, чего Айви не знала сама. Разве что Окалче попросила остаться на минутку и стала расспрашивать про крылов, которые нравятся, про птах, которые тоже могут нравиться, про глупа Кокшавуя и про то, что Айви уже взрослая и сама всё для себя решает. Айви постаралась быть вежливой, но чем дальше, тем труднее растискивались зубы, так что Окалче воздержалась от самых проникновенных советов по поводу телесной радости, – но отомстила, специально выскочив из смотровой палаты с прощальной репликой: «Сылвика, тут надолго, твой случай».

Сылвика, надо отдать ей должное, сделала непонимающий вид, а Мать-Гусыня посмотрела на Окалче так, что та мигом стерла улыбку и упряталась от греха. Айви подышала, но успокоилась не сразу. Неединившимся у мары приходилось непросто, и намекать на такую судьбу было даже не дурным тоном, а плохо спрятанным оскорблением, которое произносить стыдно, а еще стыднее примерять на себя. Айви и не собиралась, пусть Окалче хоть изнамекается.

Осмотры Сылвики никто не любил. Она была красивая, хорошая и ласковая, ничего плохого не делала, и руки у нее были не как у Окалче, а мягкими и теплыми. Да Сылвика почти и не касалась никого, когда осматривала – и не смотрела, кстати, просто сидела рядышком, не притрагиваясь, или бродила вокруг, водя по воздуху пальцами, беззаботно болтая на глупые темы и

принюхиваясь то к затылку, то к коленкам. Незаметно. Но все замечали. И боялись.

Почему-то это принюхивание было неприятным и жутковатым, как прогулка по дну Овечьего пруда: там всегда тепло и ручейки со дна щекочут, но никогда не знаешь, не перепутает ли тебя пруд с овцой и не излечит ли к концу прогулки от слабой рунности или нехватки курдючного сала. А то и сочтет вполне зрелой и готовой, и ты вынырнешь из пруда без разума и памяти и побредешь к жертвеннику, чтобы лечь там возле столба, вытянув шею.

Айви лет в пять увидела овцу, которая ожидала забоя на жаре полдня: строг на дежурство не пришел, живот крутило. После этого Овечий пруд никого не пускал к себе почти полную луну. Удои сократились так, что молока хватало только на подпитку млекозавода, чтобы не высох и не пал. Даже дети перешли на зерновые выварки. Строгу никто слова в осуждение не сказал, и не отказывали ему – не за что. Он сам придумал себе виру: несколько лун чистил навозные отвалы и приносил жертву каждую пятерину, причем первые три жертвы земля не приняла, – а затем ушел навсегда, вроде за Кам, никто не спрашивал. Но этого Айви как раз не запомнила, а вот отчаянного взгляда, утомленной дрожи и вываленного языка овцы, полдня прождавшей ножа, не забыла до сих пор.

И чувствовала себя такой овцой при каждой встрече с Сылвикой. А сейчас – особенно остро. Сылвика вдруг стала ее трогать – живот, крестец, затылок. Это было жутко, потому что ощущалось не как прикосновение другого человека, а как толчок пальцами, таившимися внутри Айви – под кожей живота, крестца, затылка.

Айви стиснула зубы, а Сылвика принялась еще и заглядывать в глаза и уши. Внимательно, без улыбки, так, что под густыми светлыми ресницами видна была ее странная радужка, розовая с желтым крапом. Пахло от Сылвики молоком, а изо рта – расколотым вязом.

– Лайвуй обычный был? – спросила вдруг Сылвика.

Айви вздрогнула и пожала плечами.

– На палубе – ну, на лодях, – ничего незнакомого? И шестипалые ничем не отличались?

– Да что на них смотреть, – пробормотала Айви. – Тупые, бесштанные, орут. Обычные.

– А… лайва?

– Она обычная бывает? – уточнила Айви.

Сылвика кивнула и поинтересовалась:

– А кровь у тебя – обычная? И ощущения? Кроме того, что сдвиг?

Айви неожиданно для себя призналась:

– Сейчас все как обычно, но тогда вот слабость нашла, как если с крыла упасть. И тень…

– Что – тень? – спросила Сылвика плывущим голосом и сама будто поплыла по кругу вверх и к Юлу, а подбородок Айви повело в другую сторону, так что она не смогла проследить за Сылвикой, за лесом, за небом, которое наползало, как тень от лайвы, выворачивая весь мир невыносимо-голубой изнанкой.

Айви судорожно вздохнула и села, хватаясь за горло, за грудь, за штаны. Они были развязаны и приспущены, нет, как будто слегка неправильно надеты. Айви лежала на подстилке, солнце было в зените, в небе не осталось ни облачка, ни дна. Сылвика стояла поодаль, разглядывая ладони. Луй сидел возле бегунков Айви, беспокойно поглядывая то на нее, то на Сылвику.

– Ты меня усыпила? – хрипло спросила Айви, с трудом поднимаясь и подвязываясь как следует. В голове шумело и подстукивало, как в пьяной песне, тара-дара-тара-дам, бам. Не как после учебного сна, и не как после лечебного – да она и не обучка и не болящая, она здоровая птаха мары, ее нельзя трогать без разрешения, разглядывать без одобрения и усыплять без спросу, за это отказать могут – да и сама Айви наказывать умеет, если надо.

Айви растерла пальцы, и Сылвика спохватилась. Поспешно подошла, вытирая руки, отпихнула ногой зашипевшего Луя и показала ладонь. На ладони лежал листок, лечебный, белый и длинный.

– Прости, само получилось, – сказала Сылвика. – Ну и хорошо, что так, Мать-Земля направила. Смотри, что из тебя выходит.

Айви присмотрелась и гадливо передернулась, приняв темную царапинку на белом за червяка. Червей она не любила с детства, отчего в свое время провалялась две луны – отказалась пускать в себя червей, которые лечат воспаление легких за короткий зимний день. Но это был не червяк и не глист, а тень. Сылвика покрутила листком, тень послушно меняла очертания. Айви посмотрела в сторону солнца, помаргивая, огляделась, не увидела ничего, что могло бы такую тень отбрасывать, и потянулась пальцем к тени.

Сылвика шикнула и убрала листок, но поздно: царапинка распалась посредине на две риски и исчезла.

– Что это? – спросила Айви с омерзением, не зная, то ли ощупывать себя, выдавливая, что получится, то ли держать руки подальше.

– Точно не знаю, – сказала Сылвика, не отрывая глаз от белизны листка. – У мары такого точно не было. У соседей – ну, поднимать песни и рассказы надо. Я только по верхам пройти успела – не нашла. Но пока ты спала, это вот толще и ярче было. Ты проснулась – оно потеряло яркость. Ты руку протянула – оно исчезло. Двигайся, Айви. Завтра еще посмотрим.

– Я теперь спать и не буду, – мрачно пообещала Айви. – Они сейчас… тут, да?

Она притронулась к животу и тут же отдернула руку.

– Думаю, нет, – ответила Сылвика. – Они не совсем настоящие, ты же видишь. Настоящих Окалче заметила бы. А волшбу я заметила бы. Это не волшба, остатки волшбы. Повезло тебе, девочка.

– О да, повезло, – согласилась Айви, сражаясь с трясущимися губами. – Куда я теперь такая?

– Как куда? – удивилась Сылвика. – На пастбище.

4

– С тенями речники играют, это я поняла, – сдерживаясь, сказала Айви. – И про то, что можно переделать кровь, но нельзя – другие жидкости организма, тоже поняла. Пастбище-то тут при чем?

– Кто на пастбище? – спросила Сылвика, прибавляя шаг. Они уже прошли обе рощи и огибали холм сквозь слишком густую тень – она всегда здесь такая. И трава здесь всегда была скользкой, хоть и не влажной, пришлось переставить бегунки на цепкий ход.

Я тебе малка, что ли, в загадки играть, чуть не поинтересовалась Айви в ответ. Раздражение в ней уже клокотало, как в хмельной бочке, а внеурочное недомогание возгоняло это раздражение, как вытяжка из рога оленя возгоняет обычное пиво в бальзам выдающейся крепости и вони. Но вонять было стыдновато, хотя бы перед Луем. Поэтому Айви кротко ответила:

– Овцы.

Сылвика хмыкнула, на мгновение остановилась, чтобы окинуть Айви весело-удивленным взглядом, что-то уяснила и двинулась дальше, бросив через плечо:

– А над ними кто?

Баран, подумала Айви и почти уже взорвалась на тему «Чего это он над ними?», и тут сообразила:

– Боги. Кул, что ли?

– Во-от, – сказала Сылвика. – А Кул у нас кто?

Урод, чуть не сказала Айви, но это было грубо, она замешкалась, подыскивая другое слово, и очень удачно ничего не нашла, ведь они вышли на пастбище – и чуть не наткнулись на Кула.

Он стоял у подножья холма и разглядывал бродящих по лугу овец, сгорбившись и тяжело дыша. Кул был гол выше пояса и пугающе гол головой, которую выбривал куда чаще, чем овец, и был он выше пояса мокр – точнее, влажен и блестящ. Вспотел. Словно упражнялся только что, как птен или ползун. Ох. Он и вправду упражнялся – вон трава притоптана, лежат палки, которыми махал, да и по телу видно: мышцы раздуты и сами ненормальные, всякая по отдельности распирает кожу вместо того, чтобы прятаться под ровным гладким слоем подкожного жира, как положено человеческим мышцам. И наверняка воняло от Кула. Например, свежим по?том поверх застарелого пота. В бане-то его вчера не было. Не ходил он в баню со всеми, с птенчества не ходил, и на прудах играть перестал, когда убедился, что не может со всеми ни по дну бегать, ни на водоступах скользить, только плавать может, совершенно неправильно, хоть и быстро. Так с тех пор по Юлу один и плавает, быстро, неправильно и постоянно, Айви видела.

Повезло, что ветерок поддувает от холма, а не к холму.

Тут ветер изменился, Айви затаила дыхание, но запах успел пойматься. Он был не мерзким и не грязным, но совсем чужим и тревожным, как тревожной и чужой может быть мокрая медь в землянике. Кул ведь и ел отдельно, и готовил себе сам. Разная еда заставляет едока пахнуть по-разному. Например, дикарская еда, по-дикарски приготовленная на хищном открытом огне, как в древности.

Айви отвернулась от глиняного кострища с глиняным котелком, из которого пахло нездорово, но очень заманчиво. Кровь виновата, решила Айви с легким раздражением. Готовит, небось, из общих запасов, вот привычка и манит. Хочется верить, что Кул тащит запасы со склада, а не с огорода и не из Вечного леса.

Хотя с него станется. Он из яла-то сбежал в заброшенную сыроварню на лугу, чтобы быть поближе к лесу, а не чтобы пасти овец. Люди бывают пастухами только в песнях: в жизни овцам хватает пригляда птиц, хорьков и посвиста издали. Кул просто нашел возможность быть дикарем так, чтобы никто этого не видел, подумала Айви и еле сдержала смешок, представив, как Кул прыгает по лугу среди овец, кувыркаясь и размахивая палками, будто игрунки с ярмарки, попутно отмахиваясь от комаров – он-то стрижей вызвать не может, никакой волшбы не знает, дикарь как есть, – и овцы боязливо пятятся от страшилища в дикарских штанах, нелепо собранных из разных кусков и перетянутых в самых странных сочленениях ремешками. Почему-то это не только смешило, но и

раздражало. Вернее, слегка томило, как запах от костра, и отдавало тянущим ощущением внизу живота. Неурочные и есть неурочные.

Айви поморщилась и оглянулась на Сылвику. Та не отрывалась от Кула, распахнув глаза и чуть шевеля ноздрями. Остальное лицо не двигалось, зато зрачки играли, распахиваясь и сжимаясь одновременно с ноздрями. Айви стало неуютно, так что она сделала шаг в сторону, но тут Сылвика, не повернув головы, спросила:

– Тоже хочешь?

Айви не поняла. Сылвика грустно улыбнулась и тронула Айви за локоть.

– Не уходи, – попросила она и пошла к Кулу.

Тот следил за ними по-лисьи, не оборачиваясь, через плечо. На пробежавшего мимо, к овцам, Луя Кул не обратил внимания. Овцы, впрочем, тоже. После прыжков полуголого дикаря их никакая куница не напугает.

Айви некоторое время понаблюдала за тем, как Луй безуспешно пытается раздразнить овец или барана, заскучала и решила дойти до сыроварни, в которую не заглядывала с детства, но зацепилась за чужую тревогу. Айви метнулась глазами к Лую. У того все было нормально: кусал барана за хвост, переливался к тупой морде и мелькал в опасной близости от рогов, чтобы метнуться обратно к хвосту. Никакой тревоги Луй не испытывал.

Больше никого открытого для Айви поблизости не было. Сылвику она не чувствовала. Ее никто не чувствует, пока Сылвика не захочет, на то она и Сылвика. Сейчас захотела, что ли?

Сылвика если чего и хотела, то уж не передать свою тревогу Айви. Она стояла вплотную к Кулу, водя пальцами вдоль его неприятно узловатых плеч и рук, но не касаясь их, и что-то говорила, слегка улыбаясь. А Кул, потупившись, бормотал в ответ редко и угрюмо, явно опасаясь Сылвику. Эту тревогу Айви чувствовала, растущую и очень знакомую, какую не раз испытывала сама, когда предлагали что-то общепринятое, но ей неприятное: напоить куницу пивом или крыло кровью, вылечиться червями, запереться голой разнополой толпой в пивном баке и проверить, кто самый выносливый, или просто принять хоть один из

даров старого глупа Кокшавуя, которому за надоедание птахе, кстати, чуть на целую луну не отказали слышать землю.

Из-за передавшейся вдруг от Кула к Айви тревоги не казалось смешным очевидно забавное зрелище: здоровенный и мясистый крыл – хорошо, не крыл, дикарь-полумуж, – боится спелую, но не больно широкую жену ниже его на голову.

Сылвика наконец коснулась Кула повыше локтя и, чуть поглаживая, сказала что-то очень низко и мягко. Слов Айви не расслышала, но косы у нее на загривке зашевелились от выбранного напевного лада – и от того, видимо, что дыбом попыталась встать шерсть Кула, какая уж осталась. Кул дернулся, вырываясь, и Сылвика, засмеявшись на тот же лад, спросила так, что Айви расслышала:

– Ты боишься, что ли? Пойдем.

«Чего боюсь-то, просто не хочу», – не услышала, а прочитала Айви по губам Кула, удивляясь своему умению читать по губам, готовности считать шепот дикаря существенным, а особенно злорадному облегчению, которое поднялось в ней, – ее собственному чувству, не пойманному от Кула.

Кул неловко переступил с ноги на ногу, собираясь уходить.

– Погоди, – сказала Сылвика другим голосом и положила ладонь на впалый, неровный и, наверное, очень жесткий живот Кула.

Кул вздрогнул, Айви вздрогнула тоже. В горле похолодело и тут же стало горячо, томление в животе усилилось, наматываясь на ось, вспыхнувшую вдруг ниже, дернулось вверх-вниз и взорвалось, сладко выкусив полголовы вместе с глазами и языком. Айви сделала шажок, чтобы не упасть, застыла враскоряку, соображая, что произошло, пока холодное счастье стекало изморозью с головы по телу, вздыбливая соски и лопатки, растерянно посмотрела вперед и увидела, что Кул с разведенными руками и ошалевшим лицом замер в похожей позе, а Сылвика вытаскивает ладонь из-под одного из ремешков его штанов, бережно, горсточкой, и размазывает что-то из этой горсточки по обнаружившемуся в другой руке силовому листку.

Сылвика впилась глазами в листок и присела на секунду, чтобы вытереть правую руку о траву. Кул немедленно, как по приказу, плюхнулся на задницу и замер отцветшим кустом: пятки вместе, колени разведены, голова опущена.

Ветер на миг переменился, обдав Айви запахом травы, овечьего навоза, душной меди, сладкого пота и еще чего-то сладко чужого, и тут же откачнулся обратно, будто вытесняя сквозь затылок чуждую сладость родной сладостью медоцвета и хмельного дыма. А она не вытеснялась, прилипла между носом и глазами.

Айви с трудом, но удержала равновесие и даже глуповато улыбнулась подошедшей Сылвике. Сладость дотекла до кончиков пальцев. Было тепло, уютно и дремотно.

– Нет никаких теней, – сказала Сылвика разочарованно. – В прошлый раз, когда его зашивала, во всех жидкостях почти такие же заметила, думала, у чужаков всегда так, поэтому тебя сразу сюда повела. А нету. Обыкновенное семя – ну, молодое, добротное, вон живчики все какие, и набор смотри какой интересный… Тебе худо?

– Нет, – ответила Айви как могла твердо.

Сылвика посмотрела на нее, на Кула, чуть улыбнулась и отметила:

– Надо же, какие совпадения бывают. Хорошо прочувствовала, да?

– Ничего я не прочувствовала! – бросила Айви с возмущением.

Улыбка Сылвики стала шире. Айви возмутилась еще сильнее, но запнулась. Слова куда-то потерялись, а теплая сладость напоследок ласково прошлась от лопаток к затылку и лобку. Она зажмурилась, а открыв глаза, увидела, что Сылвика, поизучав листок, подняла брови и уже серьезно сообщила Айви:

– У тебя с ним полная сочетаемость, кстати. И полумуж пригожий, так что дети…

– Пригожий! – перебила ее Айви с почти искренним негодованием. – Щербатый, корявый!..

Она осеклась, сообразив, что Кул тоже слышит. Он с трудом встал, не глядя на Айви, и нагнулся, чтобы подобрать груду тряпок и ремней, составлявших его рубаху, и уйти к своим овцам.

Айви стало чуть неловко и тут же томно и горячо: Сылвика, убрав листок, подошла к Кулу и посмотрела на него снизу вверх. Кул ответил странным взглядом, туманным и немножко овечьим. Айви стало жутковато, но и томление усилилось. Она поняла, что снова словила чувства Кула, изумилась, какую кучу чувств, оказывается, прогоняет через себя этот дикарь, и тут же, взвизгнув от боли, вцепилась в низ лица.

Сылвика, быстро и ловко приобняв Кула за шею, другой рукой ухватила его за передние зубы, а головой уткнулась полумужу в голую грудь. Кул попытался вырваться, негодующе крикнул, охнул и замер, неловко изогнувшись так, что Сылвика почти висела на нем, встав на цыпочки. Ей было очень неудобно, но она не выпускала из захватов ни шеи, ни зубов Кула, лишь бормотала что-то в мокрую мелко трясущуюся грудь дикаря. Кулу было очень больно, но с места он не двигался, зато дрожал каждой заметной мышцей и тяжело дышал, тонко постанывая на выдохе.

Боль изо рта Айви поднялась через лоб к макушке и будто выбросила сеть корней до пяток, и каждый корень был омерзительно болезненным, и каждый будто высасывал по крупинке из всякой пронзенной кости. Боль стала раскаленной, потом тупой, потом превратилась в невыносимую щекотку, и Айви полезла пальцами чесать дёсны, а Сылвика отпала от Кула, который повторно шлепнулся на задницу и сам, как Айви только что, вдавил обе ладони в челюсти.

Сылвика чуть покачнулась, вроде бы хотела присесть, да передумала. Она вытерла ладонь о штаны и сказала Кулу севшим голосом:

– До вечера не ешь ничего, пить можешь, лучше молоко. Пару дней осторожно, только сыр, творог и щуку, дальше можно всё, но побольше орехов – без скорлупы, раскалывай руками или камнем. Яйца целиком ешь. Кости не нагружай пока, сломаются. За зубами ухаживай, чисти и полощи, больше не ломай, других не дам.

Она подошла к Айви и утомленно сказала:

– Сегодня его не трогай, а завтра уже можешь… хоть сразу в мужья производить. Не желала щербатого – вот тебе нещербатый, а раскормишь – и корявым не будет. Пошли, птаха, нам тут пока делать нечего.

Сылвика двинулась в обход холма.

Луй стремительно несся к Айви через луг, чудом не сшибая овец. Испугался чего-то, что ли, подумала Айви, вглядываясь в дальнюю кромку луга, где шевельнулось серое пятнышко. Айви моргнула, пятнышко исчезло, Луй перешел на обычную текучую рысцу. Показалось.

Айви смотрела бы куда угодно, чтобы не смущать Кула, и все равно заметила краем глаза, как он осторожно ощупал зубы одной рукой и другой, уткнулся лицом в предплечье и неудобно замер, не собираясь двигаться – по крайней мере, пока Айви здесь. Было ему тоскливо и обидно, как Айви не бывало с детства. Птен ты птен, подумала она с досадой, отвернулась, брезгливо поморщилась и шикнула на Луя – тот деловито обнюхивал траву, о которую Сылвика вытерла ладонь.

Надо будет ему сейчас же морду вымыть, подумала Айви, а то еще целоваться полезет, а там… Даже теней нет, зато сочетаемость полная, вот повезло-то, подумала она, пытаясь развеселиться, украдкой почесала верхнюю десну мизинцем и пошла куда подальше.

5

К уходящему мужу допускают всех.

К уходящей жене допускают только жён.

К Арвуй-кугызе не допускают никого. Мужи могут зайти на порог Прощального дома, но не дальше. Женам и на порог нельзя.

Поэтому все сидели на длинных лавках возле порога.

Порог выглядел непривычно, как и весь Прощальный дом: мары давно не ставили и?збы, во всяком случае, для живых.

Айви места сперва не хватило, пришлось постоять, пока Кокшавуй, покосившись на нее, не встал. Он хотел что-то сказать, он вечно хотел что-то сказать Айви, но теперь уже не решался, благо богам, а когда решался раньше, боги морщились и вздыхали, – это правда, Айви даже рябь на озере видела, хотя ветра не было. И на сей раз не решился, да и глянули на него внимательно не только строги, но и бабка из Перепелок, так что он нервно почесал животик и пошел к курившейся пивоварне. Там варилось пиво для дня проводов Арвуй-кугызы, для дня без Арвуй-кугызы, и для дня выборов Арвуй-кугызы, а Кокшавуй, если Айви правильно помнила, был как раз главным умельцем собирания пива второго и третьего дня, утешающего и восстанавливающего. Пиво для прощания он варить не умел, его полсотни лет варить учатся, и у каждого варщика оно свое, но не каждому варщику удается им похвастаться. Кокшавую полусотни еще нет, Цотнаю, которому он помогает, вдвое больше, но и он до сих пор таким пивом похвастаться не мог. Сегодня сможет, подумала Айви горько и села на теплое до сих пор место, мельком удивившись, что ей не противно вбирать тепло Кокшавуя.

На этой лавке сидели в основном крылы и строги, но вроде никто никогда не говорил, что на прощании мужам и женам надо держаться порознь, как до вечера солнцестояния. И птахам с кровью только на торжество солнцестояния нельзя, понятно почему – боги заволнуются и могут попросить человеческую жертву, выйдет неудобство и беда. А сюда можно, коли никто не сказал, что нельзя.

Луй сосредоточенно зализывал нос и лапы в ограждающей поляну роще, поскуливая лишь изредка, ко- гда боль становилась нестерпимой. Повизгивал-то он сразу: возмущенно – когда наткнулся на запретные слова Айви, и горько – когда уткнулся в черту, которую могли переходить только мары яла. Людям других родов и народов ходу на поляну прощания не было, зверям и нелюдям тоже. Луй все-таки пересек черту, ума как у карася, но сразу юркнул обратно, так что легко отделался. Оставшаяся в земле пара когтей отрастет, ободранный кусок носа затянется, как и сбитые лапы, а лысинки будут напоминанием о том, что запрет земли хватает нарушителей сразу и всерьез.

Справа сидел силовой вязальщик Онто, слева Цотнай, вот почему она его вспомнила. Они не касались Айви плечами, коленями или мыслями, не пытались приобнять или приструнить, не поучали. Просто прощались, тихонечко, тоскливо и светло. Айви посмотрела на порог и новенькую дверь чуть дальше и попыталась представить, как Арвуй-кугыза лежит где-то за ней – наверное, на

невысокой лежанке, наверное, в пустой комнате, наверное, в сложной смеси запахов, которые круг матерей выставил с утра и которые позволяют уходящему прожить последний день без боли и тоски, вспомнить все, что надо, и уйти вместе с солнцем в темноту, где Береза-Праматерь, звёзды, луна и боги.

Тем, кто остается, тоже не помешали бы запахи утешения, от которых не так горько под горлом и не так прищемлено сердце. Но для мары запахи слишком важны, чтобы развешивать их на всех, они часть человека, а человек не должен без спроса впихивать свои части в других людей. Поэтому мары используют курения и дымы только в пяти самых важных приобщениях к богам, а в миру это невежливо.

Айви вспомнила, как Мать-Гусыня утащила Арвуй-кугызу на большую ярмарку. Ярмарка собиралась на безобетной земле за Хромым лесом и болотами, но пред кучной степью, вниз по Юлу – вплавь день, Вечным и Хромым лесом три, по расстеленной земельной речке полдня, плюс пол-луны этой речке развертываться и крепнуть. Земельные речки настилались всё реже, один человек и без них куда надо пройдет, а коли надо быстро, так пролетит или проплывет, толпой же ходить некому, некуда и незачем: правильный народ всё нужное ему давно собрал. Арвуй-кугыза Матери-Гусыне это раз двадцать, наверное, повторил, но на двадцать первый год уговорился и пошел со всеми.

Купцов набралось что мошки над кучей жмыха в разгар заготовки браги, а народу в десятки раз больше, отовсюду: кырымары и улымары, одмары и кам-мары, марывасы и марызяры, норги и русь, элины и фарсы, ливы, кривы и склавы, команы, авары и прочие кучники, франки, гелы и прочие пещерники, и восходные безбровые, и закатные носатые, и ночные шестипалые, и дневные бесштанные, и черные, и красные – все, в общем. Торговали едой и водой, пряностями и сластями, семенами и мякотью, чаом и аракой, кахвой и бургунью, шелками и парчой, золотыми стеблями и рубиновыми колосьями, чехлами для крыльев, шутейными стрелами, запретными лезвиями и ненужными колесами.

Айви металась по рядам, глазела, пробовала, чуть не сломала зуб об орех, оказавшийся дорогущим каменным зобом туранской жабы, до одури накувыркалась в веревочной ловушке для рыси, три раза выпила до дна самонаполняющийся жбан со сладкой шипучей водой, а он тут же наполнился в четвертый раз, – и, порыгивая и пузырясь, понесла опорожнять раздутое до звона пузо.

Сушителей и разложителей здесь никто не использовал, все ходили в отхожее место, которое Айви ужаснуло, но развеселило еще больше. Выскочив оттуда, она и увидела, как гололицый торговец золотыми побрякушками презрительно выпускает клуб дыма в лицо Арвуй-кугызе.

Айви замерла. Это было дико и страшно – живой, пусть и странный человек, добровольно набирающий в себя то ли дым, то ли пар из небольшой палочки, похожей на стебель силы, но в дикарских украшениях, – и белый клуб, без спросу окутывающий Арвуй-кугызу.

Арвуй-кугыза сперва лишь сморщил нос, и дым быстренько упал к земле, но гололицый этого то ли не заметил, то ли не сумел оценить, что неудивительно. Пренебрежительно рассмотрев Арвуй-кугызу, он снова набрал полные легкие дыма и пустил его толстой струей в лицо, как он полагал, недалекому зеваке. Теперь Айви стала постарше и поумней и понимала, что за пределами земли мары живут невежды, ничего не знающие про обет, про истинный закон и про будущих богов, что держат этим законом землю, небо и народ, не позволяя им сорваться с мест и убить друг друга. Невежды до старости остаются детишками, которые дерутся, наращивают себе мясо и точат ножи, но не знают настоящей силы, не видят ее признаков и просто не понимают, что щуплый дедок в простой белой одежке – самый могучий человек из живущих ныне.

А тогда Айви просто сжалась в тоске и ужасе – и тут же расслабилась, потому что Арвуй-кугыза, уронивший и этот клуб дыма к ногам, не оборачиваясь и не двигаясь, погладил ее по голове, убавил липкость во рту и убрал боль из зуба, а тяжесть из живота. Гололицему Арвуй-кугыза просто улыбнулся.

И гололицый перестал улыбаться и чуть не проглотил свою дымовушку, потрясенно наблюдая за тем, как изо рта и ноздрей щуплого дедка проворно выбегают отряды очень крохотных и очень разных жужелиц, жучков, тараканов и комаров – и, точно повторяя очертания летевшего на Арвуй-кугызу дыма, приближаются к гололицему, облепляя его рот, нос, все голое лицо, напомаженные волосы и шею, весело устремляясь под изысканно расправленный ворот.

Гололицый ойкнул, попытался вскочить с места, одновременно отмахиваясь и стряхивая с себя беззвучный разномастный рой, рухнул, восстал сусликом, озираясь, и принялся, вскрикивая и причитая на разных языках, разносить лавочку.

Айви дико захохотала, вспугнув Чепи, которая рядышком ворковала с каким-то тощим шестипалым. Чепи глянула на Айви злобно и утащила тощего подальше. Народ вокруг бросился кто помогать гололицему, кто спасаться, а Арвуй-кугыза поймал укоризненный взгляд немедленно выросшей рядом Матери-Гусыни, повел пальцем, убирая мелкую напасть, и быстренько укатился к ряду с мазями, притирками и снадобьями от всех болезней. Это было еще смешней, так что Айви почти задохнулась от хохота, который делался только сильнее от недоуменных взглядов покупателей и перепуганно-оскорбленного – гололицего.

Арвуй-кугыза сам почти не смеялся, но смешил до слёз, даже когда, например, учил очень серьезным вещам: как заставить гадюку высосать собственный яд из свежего укуса, как замедлить боль на полдня, как пить болотную воду, разлагая ее во рту и сплевывая гнилую часть, как беречь волосы и где хранить срезанные ногти.

Корзина с ногтями Арвуй-кугызы, которые он среза?л в течение жизни, стояла на крыльце в снопе шиповниковых веток. Корзина была высокой и разноцветной: Арвуй-кугыза прожил долго, сильно дольше, чем собирался, так что прутья пришлось надставлять трижды. На крышке корзины лежало огниво и фитиль. Шиповником Арвуй-кугыза будет отбиваться от собак, охраняющих тот свет, огнем отгонять змея, обнимающего скалу богов, а ногти пригодятся ему, чтобы взобраться по скале. Ногтей за долгую жизнь скопилось много, поэтому Арвуй-кугыза сможет вскарабкаться высоко и стать если не главным, то одним из главных богов, самую чуточку ниже Кугу-Юмо, и даже, вероятно, занять место Азырена, которое наверняка почти всегда свободно, ведь бог смерти вечно бегает по земле, собирая души.

Арвуй-кугыза знал всех богов по имени, а двоим даже дал новые имена, и боги эти имена приняли, поэтому теперь они были богами только мары. И Арвуй-кугыза будет богом только мары.

Надо было радоваться, но Айви не умела. И никто вокруг не умел.

Онто встал и ушел. На его место тут же кто-то плюхнулся. Айви недовольно посмотрела и перестала дышать. Это был Позанай.

Он был уже в особой одежде, неподшитой и с подвязанными зелеными кромками. Он был совсем взрослый и большой. Он был почти чужой – но по-

прежнему такой же. Родной, лохматый, с животиком. Любимый.

И пахло от него как всегда – ржаной сдобой и яблоками.

Он был теплый – Айви будто нечаянно коснулась его локтем, – и вежливый – тут же чуть подвинулся, чтобы не мешать.

Позанай посмотрел на Айви в ответ и рассеянно улыбнулся, и Айви поспешно уронила взгляд и прищемила рвущиеся во все стороны чувства, не понимая, чего боится сильнее – того, что их услышат все вокруг, или того, что их услышит Позанай. Или того, что Позанай их так и не услышит. Хотя так будет проще. Всем. Может, даже Айви.

Не попросить ли богов, подумала Айви, раз забирают Арвуй-кугызу, пусть оставят ей хотя бы Позаная, но тут же сильно, до холода в костях, испугалась такой мысли. Арвуй-кугыза уходил по законам мира и по велению богов, а Позанай уезжал не по божьей воле, а по своей, ну и по обычаю. Кровное ограждение, стебли света, семя от семени, все знают.

Обычно-то невеста перелетает – ну, у родов, идущих от зверей и земноводных, наверное, перескакивает или переползает, – в другое гнездо, берлогу, словом, ял, – а жених остается. Позанай решил наоборот. Давно мечтал и попутешествовать, мол, и приладиться к другому краю – хотя разница-то, у восходных мары, говорят, разве что болот побольше, а лугов поменьше, но леса похожи и даже свой Кам они называют почти как мы Юл – Чулче или Чулмаш.

С одной стороны, это хорошо: каждый день видеть чужую жену, которая первой забрала Позаная у Айви, было бы нестерпимо, а соседство Айви с нестерпимым частенько оборачивалось скверными последствиями как для Айви, так и для всех вокруг. С другой стороны, отъезд Позаная был очень обидным. И сам по себе – надоели мы ему, значит, видеть нас не хочет, никогда в жизни, так? До смерти, так? И после смерти тоже, так, что ли?

Нет, наверное, Айви что-то неправильно поняла. Надо спросить самой, пока не поздно.

Была и более обидная сторона Позанаева отъезда. Он мог не уезжать. Он мог жить здесь. Он мог жить с Айви. Всю жизнь. Гуси и Перепелки всегда жили

вместе и часто брали друг друга в мужья и жёны. При этом тесного родства у Айви и Позаная не было. Если и было, то вряд ли более тесное, чем у любой взятой наугад пары мары.

Будь Айви чуть постарше, всё бы могло сладиться попечением матерей – они не упускали возможность сцепить правильную пару внутри яла, если была такая возможность.

Будь Айви чуть покрасивей, Позанай сам бы ее заметил, оценил возможности и предпочел бы еще годик-другой подождать ее созревания, а не мчаться к этим Лосям, как будто Перепелу пойдут рога.

Будь Айви чуть посмелее, она бы давно заставила Позаная увидеть и оценить возможности – и, может, он бы согласился. Крылы и мужи – они же не сильно умнее птенов, им и показывать надо, и объяснять, и давать разное, а сами они не увидят, а увидят – так не поймут.

Мысль о том, что Позанай будет жить в другом месте, где ему уже подготовили невесту, и он наверняка уже знает про нее всё, от имени до любимого запаха, и завтра увидит ее, обнимет и сразу соединится, и они станут друг друга, а ее, Айви, Позанай не станет никогда – эта мысль выедала голову, как черная пыльца выедает просо, медленно и неотвратимо.

Сидеть с такой головой у порога уходящего нельзя, а у порога Арвуй-кугызы – решительно невозможно.

Айви встала и пошла, ожидая. Сама не понимая чего. А когда поняла, остановилась.

Айви ожидала, что Позанай окликнет ее. Догонит ее. Заметит ее. Поймет ее и себя. Ведь для него никого лучше Айви нет и не будет никогда. Айви уж на что малка глупая и несмелая, и то поняла это страшно давно. Еще весной, когда Позанай впервые позвал ее поиграть после бани, а она молча замотала головой и убежала. После и жалела, и рыдала, и постоянно вертелась у него перед глазами – а без толку. Позанай либо не замечал ее, либо, в лучшем случае, рассеянно улыбался. Один раз, правда, подарил греющий цветок – он, конечно, всем малкам такое дарил, делал и дарил, но Айви все равно не расставалась с ним три луны, даже когда греть перестал, не расставалась, пока он не

рассыпался. Однако продержался ведь вдвое дольше обычного. Случайным такое не бывает.

Айви прерывисто вздохнула и замерла, уставившись на Позаная.

Позанай как будто ничего не заметил, сидел себе, разглядывая руки-ноги. Наконец поднял голову и не сразу, но обратил внимание на Айви, которая так на него и полыхала, выжигая глазницы и последние силы. Позанай подумал, встал и пошел к Айви – но не сразу, а немного постояв понуро у порога. Айви вот так не догадалась, глу?па квёлая.

Ей стало очень стыдно, стыдно даже делать в сторону порога запоздалое движение, а она не знала какое, не поклон же – хотя это мертвым кланяться нельзя, уходящим можно, наверное, – и тут же вспыхнула счастьем и стыдом, ведь Позанай шел к ней, к ней.

Очень медленно шел, мучительно долго, но все-таки подошел.

Подошел, тронул за плечо и печально улыбнулся.

– Грустно, да? – спросил.

Айви кивнула, сдерживаясь от любого высказывания. Ничего умного не скажет ведь. Ей бы от улыбки удержаться, и неуместной, и не соответствующей – ведь правда грустно, так грустно, как никогда не было и не будет.

– Мне вот тоже. И так уезжаю, а еще Арвуй-кугыза уходит. Он тебя любит.

Айви кивнула, неожиданно для себя всхлипнула и торопливо вытерла нос.

Позанай продолжил, не отрывая от нее добрых светлых глаз:

– Да тебя все любят, хорошая ты. Ну и вообще у нас… Уезжать жалко.

Так не уезжай, чуть не попросила Айви, но не успела. Позанай сказал тем же печально-задушевным тоном:

– Жаль, мы с тобой так и не единились ни разу. Хочешь, вечером сегодня? А то когда еще сможем.

Айви замерла, поспешно вскинула глаза, пытаясь удержать недоумение, восторг и ужас, накатившие тремя стремительными волнами, и тихо проговорила:

– Очень хочу, Позанай, но у меня кровь сегодня.

– А, – сказал Позанай. – Жалко. Значит…

– Я могу остановить, – выпалила Айви отчаянно. Она правда могла, хотя это было и вредно, и грешно.

Позанай ласково улыбнулся.

– Да что ты, не надо. От этого всем хуже, уж поверь.

Ничего себе, подумала Айви, «поверь» просто так не говорят, только если по себе знают – то есть он знает, то есть кто-то для него уже кровь останавливал, и он теперь об этом рассказывает? Это смело, наверное.

А Позанай добавил:

– В другой раз, значит.

– В какой – другой? – не поняла Айви. – Ты же завтра…

Или ты передумал, хотела спросить она, но не успела. Позанай объяснил:

– Ну, как-нибудь.

Улыбнулся и повел ладонью у локтя, не дотронувшись – хотя плечо Айви само потянулось навстречу. В животе как будто дернулся птенец, Айви вздрогнула, взгляд непроизвольно метнулся и уперся почему-то в Кула. Тот зверовато, как всегда, глянув по сторонам, сел на край лавки рядом с Чепи. Чепи тут же отодвинулась. Ладно хоть не устроила представление с зажиманием носа и

показательным уходом. Молодец.

Айви и сама, наверное, с трудом удержалась бы от такого представления: Кул был слишком темный, жесткий и чужой. Он еще и подчеркивал это дикарской неудобной одеждой и лысой головой. Волосы-то у него как у всех мары были, Айви помнила, он и сбривал, наверное, чтобы отличаться. Но на поляну-то пройти Кул сумел. Мары он, получается, все-таки. Не зря слова «род» и «урод» похожи.

Лицо спрятал, нос платком зажал, невежа. Не Позанай, прямо скажем.

И тут до Айви дошло.

Она хотела спросить, в какой следующий раз. Хотела сказать, что, в отличие от большинства, считает, что пара – это серьезно, это взрослые, которые не должны единиться со всеми подряд, не дети же уже. Хотела угрожающе процедить: «Вот так, значит, да?»

Смысла ни в чем из этого не было. Поэтому Айви просто покивала и решила было так же снисходительно погладить Позаная по руке, нет, над рукой, а еще лучше – по животу, как Сылвика Кула, чтобы от одного прикосновения взыграл, восстал и отсеялся – и устыдился, крылу и мужу сеять вхолостую позор, к тому же у порога уходящего Арвуй-кугызы, да только на Айви позор и лег бы, ну и Позанай ей такого не простил бы, как Кул не простит, наверное, Сылвике.

Как будто Айви Позаная простит.

– Милостью богов, – сказала Айви. – Лети легко.

6

Живой огонь разжигали четырежды в год, на равноденствия и солнцестояния, не считая особых случаев. Сегодня случай был совсем особым, но считать его не хотелось.

Столы накрыли у границы Священной рощи. Столов было пять – с повседневной едой Гусей, с повседневной едой Перепелок, с прощальной едой Гусей, с

прощальной едой Перепелок и отдельный стол с едой богов. К отдельному столу можно было подходить, лишь откушав за двумя своими. На отдельный стол завтра должны отнести миску и чарку Арвуй-кугызы. Пока они висели в почерневшем туеске на Березе-Матери, вокруг которой много поколений подряд высаживалась Священная роща. Входить в рощу можно было только вслед за Арвуй-кугызой или Кругом матерей. Мать-Гусыня, представительница рода Арвуй-кугызы, до полуночи будет есть и пить за себя, а в полночь встанет, принесет его туесок и до утра будет есть и пить за Арвуй-кугызу. Утром она первой войдет в Прощальный дом с бочонком меда и высокой стопкой чистой одежды и полотенец, а выйдя, расскажет народу мары, что теперь у него одним родным богом больше.

Но это будет утром. А пока народу мары предстояла длинная трудная ночь обжорства, пьянства и бесконечной болтовни. Только они и помогают перенести обиду разлуки туда, где она превращается сперва в приемлемую часть мира, далее в радость. Из других материалов носилки для подобного перетаскивания не строятся.

Айви знала это, выучила давно и почти приняла и умом, и носом, и животом, но смириться с разлукой не могла. С разлукой невыносимой, двойной, предательской.

Арвуй-кугыза, как ни крути, предавал свой народ ради народа богов, к которому уходил. А народ мары предавал умирающего в темном пустом одиночестве Арвуй-кугызу, напиваясь и нажираясь под веселые рассказы о том, каким славным мужем и строгом тот был – на поминах положено было рассказывать про ползунство, птенчество и крылость, но не было среди мары живых, помнивших это, и не было среди мары мертвых, желающих говорить с живыми. И всего несколько живых могли надеяться на то, что когда-нибудь примкнут к богам, увидят богов, хотя бы услышат эхо слов или шагов хотя бы одного бога, хотя бы Арвуй-кугызы.

И Позанай предавал свой народ ради чужого народа, далекого и незнакомого, к которому уходил. А народ мары предавал Позаная, так просто отдавая его далеким незнакомым людям, будто непригодившийся листок. И Айви, как часть народа, получается, тоже предавала – и этим, и тем, что горевала только по своему поводу.

Она весь вечер думала об этом. Думала, пока вместе с Паялче, такой же задержавшейся в неединстве птахой, мрачно запечатывала на дозревание осеннюю одежду, пока помогала с подкормкой силовой рощи глиноземом и купоросными растворами, пока бродила по гороховому полю, по просяному и ржаному, где шуганула дозорных соколов и ястребов, что бросились на нее с высоты и правильно сделали, ведь никто, кроме хитников, после заката по полям не бродит, пока лазила по лесу, пока заведомо обходила подальше реку, по которой спускалась тихая лайва, и луг, где скакал потный беззубый Кул – вернее, теперь уже зубастый. Долго думала и ничего в утешение не придумала.

К столам с повседневной едой прошли, тихо напевая, кормилицы с грудниками и сиделки с ползунами, затем птены, затем ночные дежурные. Столы были забиты, при этом косяки блюд и жбанов с силовыми разогревателями кружили меж столами по разложенным самоездам. Сегодня можно было есть подряд мясо и рыбу, стебли и выпечку, жареное и отварное, можно было мешать брагу с пивом и наливку с молоком, забыв о правилах и порядках.

Стрижи и щеглы почти чиркали по макушкам и с шорохом проносились над столами, выбивая стянувшихся на свет, тепло и запахи комаров. За едой кормилицы и дежурные петь не могли, вместо них пели остальные мары, ждавшие своей очереди поодаль. Наконец дети наелись и бросились к прощальной еде. К столам пошли старшие.

Айви бухнулась на лавку, не глядя накидала в миску разного из разных туесов – взбитой каши, репы с брусникой на конопляной подложке, вяленого окуня, запеченного в соме, черемши под березовым сиропом – и принялась мрачно жевать всё подряд, не разбирая вкуса и лишь изредка морщась, когда кислень шибала в нос или каленое зернышко взрывалось на зубе.

Айви нашла новый повод для переживаний. Она впервые попыталась представить себя на месте Позаная, большого и красивого, с птенчества обучавшегося страшной боевой волшбе, которую можно применить только один раз и в самом отчаянном случае и после которой живых вокруг не останется. Поэтому боевых крылов сперва учили сдерживаться и терпеть любые муки, потом – отличать отчаянное от просто страшного, болезненного или неприятного, и только потом – волшбе и ворожбе, что были отчаяннее и страшнее любой смерти. Они убирали боевого волхва из жизни, не оставляя ни косточки, ни крупинки, только память и иногда, если повезет, смертную рощу, мимо которой проходить-то жутко.

Позаная научили всему этому. Лично Арвуй-кугыза учил его и еще четверых бывших боевых крылов, выросших, получается, впустую.

Они привыкли сдерживаться, терпеть и жить ради своей страшной смерти, ради одного мига, в который надо успеть сокрушить врага, спасти народ и убить себя. Они не учились больше ничему и не умели больше почти ничего. Они твердо знали, что ничего важнее этого мига нет, что только этим мигом и оправдано их существование.

И этот миг не случился.

Боевая волшба – дело крылов, оно не дается птенам младше одиннадцати и мужам старше девятнадцати. Поэтому каждая пятерка состоит из отроков разных возрастов, чтобы взросление забирало не больше одного человека в полугодие, и поэтому у маров всегда наготове подрост из еще одной пятерки, в которой каждый готов занять место боевого волхователя. Это большая честь и высокая ответственность.

А над тем, что? это для девятнадцатилетнего полумужа, которому теперь жить да жить без смысла и без надежды, Айви задумалась только сейчас. Ей стало грустно, тоскливо и стыдно.

Она должна была понять всё раньше. Она должна была почувствовать Позаная. Должна была утешить его, придумать новый смысл для него, для всех мары – ну и для себя в том числе. Ведь если терять таких отроков и мужей, то мары скоро кончатся. Айви же не для себя желает оставить лучшего, а для всех. А там как получится.

Айви остро поняла, что должна немедленно сочинить способ, позволяющий удержать Позаная. Еще острее она поняла, что ей надо попить. Или выпить.

Она отмахнулась от пива, подсовываемого случившимся тут же Кокшавуем, от медовухи отмахнулась тоже. На брусничную наливку пришлось согласиться, иначе Кокшавуй побежал бы грабить стол Перепелок, вышло бы неуместно.

Наливка была крепковата, но если разбавить водой, ничего. Айви махнула две чарки сразу, следом еще одну, но способ удержать Позаная все равно не

придумывался. Она ругнула себя, спохватилась, что рядом с Березой-Матерью такие слова воспринимаются всерьез, и торопливо зашептала извинения перед Березой-Матерью, Священной рощей и мстительной богиней Овдой.

– Легче не будет, – сочувственно сказал Кокшавуй, так и сидевший рядышком, ладно хоть без прижиманий и сострадательных как бы объятий. – От молитвы не должно быть легче. Она не тебе, а им.

А то я не знаю, хотела оборвать Айви и тут сообразила, что Кокшавуй считает, что она, как и все, переживает за Арвуй-кугызу, вот и заботится о ней так, по-отцовски и по-мужски, как принято. Знал бы он. Знал бы кто. Странно, если все еще не знают.

Айви отставила чарку, встала и решительно пошла от стола, сама не зная куда. Кокшавуй, она чувствовала, смотрел вслед, но догонять не стал – решил, видимо, что ей по нужде.

Айви и впрямь потащило облегчиться, требовательно так, перебрала все-таки и с настойкой, и с ее разбавлением. На полпути за кусты Айви заметила Позаная, который встал из-за прощального стола Перепелок, и поняла, что боги ее услышали и сами все устроили. Она поспешно осмотрела себя, отряхнула зернышки с груди, вытерла измазанный чем-то подбородок и решительно двинулась в сторону Позаная, да тут же и остановилась.

Позаная, направлявшегося за те же кусты, перехватила Чепи. Плотно так перехватила, с долгими серьезными намерениями. Даже в строгом белом она выглядела пышной и расфуфыренной. Айви подумала, не подойти ли к парочке с быстро придуманным неотложным вопросом, но ничего быстро придумать не смогла, а Чепи тем временем ухватила Позаная за руки и вжалась в эту сцепку огромной своей грудью. Золотая подвеска шевелилась и переворачивалась, да и без подвески грудь перевешивала все, что могла бы противопоставить ей Айви. После сегодняшнего-то разговора.

Мгновение Айви еще надеялась, и тут Позанай засмеялся, а Чепи прильнула к нему всем телом.

Айви мрачно метнулась за кусты и еще глубже в лес, присаживаясь, едва не забыла плеснуть на землю сушителя, за неотложными делами немного

поревела, придумала несколько способов унижения, наказания и посрамления Чепи – такое придумывалось почему-то проще, чем доводы для удержания Позаная. Снова плеснула сушителя, с перебором, ну да лишним не будет, и решительно направилась к прощальному столу Перепелок. Но дошла не сразу.

Прилесок был плотным: сосновый подрост, березы и осины вразброс, между ними боярышник, можжевельник и куманика. Ближними к поминальной поляне были Три Старца, огромные дубы, вокруг которых ничего не росло – не могло или просто боялось пробиться сквозь толстую подушку палых листьев и желудей. К тому же там было сумрачно даже в полдень, а сейчас самые буйные отсветы с поляны не достреливали до корявых стволов.

Поэтому шагавшая поодаль Айви сперва ничего не увидела, а остановилась потому, что услышала пыхтение и решила, что там зализывается Луй, снова схлопотавший за попытку прорваться в запретное для зверей место.

Да научишься ты чему или нет, потрох сомий, чуть не рявкнула Айви, но тут разобрала хихиканье. Она замерла, постояла на месте, перевела бегунки на беззвучку, а зрение – на ночное, отвернулась от поляны, чтобы та не слепила, осторожно сделала шаг к дубу и замерла уже навсегда. Намертво.

У Среднего Старца с закрытыми, кажется, глазами стоял Позанай. Верхняя часть его тела была неподвижна: он прижимался к корявому стволу спиной, затылком и ладонями. Нижняя, слишком широкая, непонятно копошилась и вдруг выросла, закрывая почти всего Позаная. Осталась видна только его голова и ниже – затылок Чепи. Это она, оказывается, зачем-то возилась в ногах Позаная, а теперь встала, покачалась, тыкаясь в шею Позаная лицом, и рывком обняла всего сразу, руками и ногами, закрыв своей головой Позанаю пол-лица. Медленно приподнялась и опустилась. Позанай охнул, сильнее запрокидывая голову. Ему больно, что ли, подумала Айви, понимая, что ему, кажется, совсем не больно, а Чепи снова приподнялась и опустилась. И сама тоненько охнула. И Айви поняла, что Чепи тоже совсем не больно.

Надо бежать, подумала она, но ноги не слушались, и глаза не закрывались, даже слух убрать не получалось, поэтому она видела эти подъемы-опускания, слышала охи на два голоса и даже замороженно удивлялась тому, как Позанай умудряется не только держать такую тушу на весу, но и сносить ее ёрзания, не шелохнувшись.

Шелест шагов со спины Айви тоже услышала и даже поняла, сколь неуместно ее подглядывание, но двинуться не смогла. Мать-Перепелка прошла мимо, как будто не заметив, а Позанай с Чепи будто не замечали Мать-Перепелку – только Чепи заерзала быстрее и заохала тоже.

– Побыстрее, – сказала Мать-Перепелка сухо и вроде бы негромко, но за ушами Айви будто лезвие прошло. – Роща услышит – беда будет.

Позанай, кажется, открыл глаза, кивнул и дальше не охал, только дышал громко, а Чепи ёрзала сильнее и сильнее, уже не охая, а пыхтя, а Мать-Перепелка неподвижно смотрела. Чепи прошипела что-то Позанаю на ухо, тот не понял. Чепи, поочередно скособочившись на правую и левую стороны и чуть не съехав наземь при этом, положила одну ладонь Позаная себе на широкий зад, другую – на грудь и заерзала дальше.

Мать-Перепелка вздохнула. Запах щавеля защекотал ноздри.

Парочка замерла. Позанай подхватил зад Чепи и другой рукой, с усилием оторвался от ствола, трудно покачиваясь, шагнул спиной вперед раз и два, и утонул во тьме перелеска под хихиканье Чепи.

Хихиканье добило Айви. Мир стал неровно-радужным, из глаз потекло. Айви моргнула, меняя ночное зрение на обыкновенное, и побрела к столам, не обращая внимания на шепот и напев: Мать-Перепелица пошла вокруг дуба, поглаживая кору. Видимо, извинялась за дурных отпрысков, единившихся мало того что на почитаемом дереве с именем и вблизи Священной рощи, да еще и в прощальную ночь. Несколько смертельных неурожаев и загадочных моров примерно с таких невежливостей и начинались. Боги ведь тоже могут и обидеться, и поддаться раздражению.

Айви добрела? до лавки и села, невидяще сжевала, отмахиваясь от вопросов и прочих слов, что-то вязкое и что-то острое, покорно позволила себя поднять из-за прощального стола Перепелок и провести к прощальному столу Гусей, покорно выпила подсунутый ей сырный морс, который даже, как положено, заедала сладкой стерлядкой и горькими орешками. Горше не стало. Некуда просто горше-то.

Вокруг поминали.

– Чопай рассказывал – ну, ты не помнишь, он ушел, когда отцы твои не родились, – он, говорит, когда еще Арвуй-кугыза Арвуй-кугызой не стал, во сне видел, что дальше будет. Беды всякие: буря, неурожай, глина силу не держит, скот падет, вода горькая и так дальше. За луну видел, заранее. И толку никакого, исправить или не допустить невозможно, он сам пробовал, со строгами, бесполезно. Ну и перестал рассказывать, что увидел. А все же знают и каждое утро бегут к нему, в глаза заглядывают. Он молчит, а от одного там, вроде тебя, Кокшавуй, такой…

– Чего это вроде меня?

– Род один, вот чего. И ты ж его колена, вижу. Проверим, коли хочешь. Не перебивай старика. И, значит, от того, который как Кокшавуй, он глаза отводит. Тот думает: ну все, помру сегодня. Прощается со всеми, дела передает, грустит, ложится помирать – ничего. Утром снова к нашему бежит, тот опять глаза отводит. Ну и так три дня подряд. Кокшавуй…

– Ну хватит уже.

– Хватит, хватит. Который не Кокшавуй, уже на коленях всеми богами молит: скажи, как и когда помру, готов. А тот: с чего ты взял, что помрешь? Ну ты же, говорит, в глаза не смотришь! А наш сам бух тому в колени: прости, говорит, я с твоей Ошапче единился, само случилось, по любви, а стыдно и сказать тебе боюсь. А этот орет: да ты бы хоть мою будущую могилу вскопал, я ж за эти дни три раза помер зря!

Вокруг загоготали на разные лады и принялись подтрунивать над Кокшавуем, да не над тобой, не над тобой, над тем, и, перебивая друг друга, вкручивать новые рассказы о том, какой Арвуй-кугыза был страстник, пахарь и искусник до выхода в строги, каким мощным волхвом, правильщиком и счетчиком был в строгах и сколь божественным оказался, оставшись человечным, в сане Арвуй-кугызы.

Вы регочете, как утки, а он лежит там один и умирает, чуть было не крикнула Айви, но сидя кричать такое глупо, а встать она не смогла, ноги не слушались. Айви мрачно придвинула к себе чарку, чья-то рука мягко вынула ее и заменила на ковш, Айви зарычала, но и шея не слушалась, не позволяя повернуть голову, отыскать непрошеного распорядителя и отбожить его как следует. Она придвинула ковш и с омерзением сделала несколько глотков чего-то слишком

сладкого и слишком слабого.

Пьяный голос – Онто, точно, не глядя понять можно, – пытался, мекая, сбиваясь и упорно возвращаясь к потерянной нити, доказать, что Арвуй-кугыза молодец, но из бестолковых же, из боевых, всю жизнь пытался пригодиться, а когда пригодился, снова всем морочил голову своими боевыми науками, война, говорит, скоро, говорит, народ отвлекал, бестолковых плодил, а они так и не пригодились почти.

– Почти? – ласково спросил Кокшавуй, и все затихли. Одним из легших под Смертную рощу был его, Кокшавуя, первенец и любимец Сидун – он первым заметил отряд вторжения, помчался поднимать всех и смог ударить в ответ уже после первой и второй, от стрелы и ножа, смерти. Онто вякнул растерянно и замолчал. Все замолчали. Кокшавуй припал к ковшу с пивом и закашлялся, его постучали по спине.

Онто поморгал и вполголоса затянул песню Смертной рощи. Кокшавуй поспешно закивал и подхватил сквозь кашель, остальные присоединились.

Айви, кажется, заплакала или просто выпала из мира, а когда вернулась, все снова ели, пили и разговаривали, посмеиваясь, а сама она вежливо пробовала ответить на вопрос, который не поняла. Невпопад, судя по лицу Озея, который, оказывается, ее все это время и опекал, и водил, и кормил, и поил, и по спине гладил, странно, что единившейся парочкой не любовался. А забавно получилось бы: постояли бы так, любуясь, и тоже бы с ним зацепились. Озей похлипче Позаная, но и я полегче, хоть и не такая ловкая.

В этом и беда, что я не ловкая. Так и буду сбоку и сзади, никому не нужная, неумелая и уродливая. Как Кул.

Айви встала, отмахнулась от Озея и пошла с поляны. Только у самого подлеска осмотрелась, прислушиваясь, то ли надеясь, то ли опасаясь увидеть Позаная и Чепи. Но не увидела.

Их больше никто не увидел.

Мир – темный, мелкий и бессмысленный. Он всегда был таким, только раньше Айви этого не понимала. А теперь поняла. Это было обидно. Еще обиднее, что сама она даже хуже, темнее, мельче и бессмысленнее. И совсем обидно, что этого не исправить никак.

Никто ее не понимает, никто ее любит. Один человек только и понимал, лучше, чем сама Айви, и любил, наверное, тоже, и то сегодня стал богом и ушел. А больше таких не будет. Никаких не будет. И не поймет больше никто, и не полюбит.

И сама она больше никого не полюбит, никогда.

Айви впервые позавидовала шестипалым с их дикарским счетом «у каждого один отец, одна мать, один муж». Когда она впервые узнала об этом, страшно пожалела дикарей, до слез – как так, не целый народ – твоя семья, не весь род – твои отец, мать и братья-сёстры, не каждый любимый – твой муж, а у каждого своя норка, как у барсуков, а остальные – чужие, даже родственники – чужие, не говоря уж о соседях. А теперь вот завидовала. С народа какой спрос, а если твоя семья – только три человека, или два, или один, то никуда не денется, полюбит. И ты полюбишь. А остальные – правда чужие. Что ей, Кокшавуй – любимый и родной? Или Чепи? Или Позанай? Нет уж.

Айви завидовала даже Кулу, у которого не было никого. Лучше уж никого, чем вот так – как зернышко в огромном хлебном поле, где все зёрна во всех колосьях одинаковые и нет ни оснований чувствовать себя особенной, ни надежды вырасти во что-то особенное.

Айви всхлипнула, вытерла нос и чуть не свалилась. Она, оказывается, дремала, сидя на земле, точнее, на подушке листьев, и уперевшись спиной в дерево. Так. В Старца, что ли, того самого?

Айви повела плечами, определила, что и листья под ладонями, и кора за спиной – вяза, немного успокоилась и в тот же миг затряслась. Она, оказывается, страшно замерзла – вон и нос до сих пор помнит, что пальцы ледяные, и ноги с задницей почти не чувствуются, и зубы стучат. Айви повела руками по палой листве, чтобы сделать теплее, подождала, повела еще, подождала и заозиралась с неудовольствием. Листва не потеплела, трава и земля тоже, и воздух перед лицом и грудью оставался таким же стылым, как и шагом дальше.

И так же пах гарью.

Это потому что я пьяная, что ли, подумала Айви обиженно. Ну и ладно. Еще мать-земля воспитывать будет. Поздно воспитывать. Сама согреюсь.

Она попыталась прогнать теплую волну от живота к ногам и рукам и прислушалась. Выходило плохо. Почти не выходило, если честно. Айви, разозлившись, попыталась вскочить на ноги, ойкнула и замерла, удерживая голову. Та норовила разойтись, как коробочка перезревшего мака, рассыпая бурую пыль плаксивых размышлений. Сочетание головной боли с телесным ознобом оказалось чудовищным.

Айви, морщась, покряхтывая, разок чуть не рухнув, поднялась, перебирая руками по стволу вяза, переждала дурноту и размялась. Стало чуть полегче, мышцы согрелись, боль в голове чуть притупилась. Страшно хотелось пить – не горлом и не нёбом, а всей утробой. Она была как ревущий черный мешок. Айви даже оглядела себя, с облегчением не обнаружив изменений.

Некоторое время она пыталась понять, как понять что-то, если ничего понять невозможно, и, наконец, с напряжением всех сил сообразила, что надо позавтракать, для этого добраться туда, где еда. Добраться отсюда. А где она, кстати?

Айви присмотрелась и замерла.

Она сидела на краю поляны. В середине поляны стоял Прощальный дом. В доме лежал Арвуй-кугыза – а скорее, его уже оставленная оболочка. Уже наступило утро, из-за верхушек дальних сосен показалось солнце, а из-за стволов – Круг матерей, за которым брели с полсотни самых стойких мары, бдивших всю ночь ради ее завершения.

Айви замерла, подумала, аж покачиваясь от усердия, что уместнее – подойти к остальным или так и наблюдать издалека. Выбрала второе – с учетом состояния и недавних размышлений. Остальные не знают, как Айви на них обижена, но это их не извиняет.

Мать-Гусыня подошла к порогу первой, подождала, пока пара бледных, но вроде не сильно хмельных крылов подведет поближе самовоз с разнообразной кладью,

подхватила небольшой бочонок, – с медом, догадалась Айви, – подождала, пока Мать-Перепелка положит сверху стопку белья, покачнувшись, ступила на порог, посмотрела на окруженную колючими прутьями высокую корзину, почему-то по-прежнему торчавшую на пороге, посмотрела на дверь, которая медленно открылась, и вошла в дом.

Дверь так же медленно и беззвучно прикрылась.

На поляне стояла тишина. Полная тишина, небывалая. Айви только сейчас сообразила, что даже птицы не поют и листья не шелестят, и еще сообразила, что от этого, скорее всего, она и проснулась. Неуютно спать в мире, который пытается притвориться несуществующим.

В голове забухало. Айви поняла, что не дышит, спохватилась и осторожно, чтобы не помять страшноватую, но нужную почему-то тишину, вобрала воздух в легкие. Воздух был странно горячим и действительно попахивал гарью, будто едва вставшее солнце успело его накалить, вскипятить и немножко сжечь. От этого холод ринулся из костей и мышц так рьяно, что Айви поблазнилось, будто ее растягивают шкуркой на гвоздиках. Она поспешно выдохнула и вдохнула еще раз, и тут дверь грохнула, отлетев на петлях.

Мать-Гусыня поспешно вышла на порог, оглядела свой народ, который выдохнул и вздохнул, – и Айви с ним, – вцепилась в узел на платке и привалилась к столбу навеса. Все смотрели на нее и ждали, с каждым мигом все сильнее пугаясь того, что скажет Мать-Гусыня. А Мать-Гусыня молчала.

Ведь смотреть надо было не на нее.

Черный прямоугольник за ее спиной помутнел и побелел. Из дома вышел крепкий худой человек в белом платье старца – длинная рубаха с вышивкой и штаны, а вместо обычной обуви почему-то лапти, и вышивка не черная, как у старца, и даже не красная, как у всех, хотя такая вышивка на платье старца возбранена, а зеленая, со странноватым узором.

Это был не старец и даже не строг, а муж – лицо без морщин, хоть и какое-то пыльное, а борода кривая и странно двухцветная.

Муж, щурясь и помаргивая, замер на пороге в шаге от Матери-Гусыни, не отрывающей от него взора, провел ладонью по лицу и рассеянно отряхнул бороду, отчего густая светлая пыль и длинные седые пряди, медленно колыхаясь в неподвижном воздухе, опали на свежеструганные доски и на зеленую, в тон вышивке, траву. И не осталось у мужа длинной седой бороды – только куцая рыжая, отчего он стал очень знакомым, при этом очень незнакомым.

Странная невыносимость этого ощущения растопырила пальцы на руках и ногах Айви, а муж отряхнул ладони, посмотрел на них, на тыльные стороны, прищурился в сторону леса и повел головой, жмуря и распахивая глаза.

Когда взгляд дошел до Айви, ее бросило в жар. А муж, будто вспомнив, поспешно полез пальцами себе в рот, как давеча Сылвика лезла в пасть к Кулу.

Муж быстро, будто не веря, ощупал собственные зубы, провел по впалому животу, чуть задержав ладонь на подоле, пошевелил коленями, и они тут же как будто ушли в сторону. Муж качнулся, сел, обхватив голову руками, и тягостно вздохнул так, как умел вздыхать только Арвуй-кугыза.

Потому что это и был он. Только молодой, красивый и сильный.

Он жив, поняла Айви. Он не ушел, догадалась она. Он не бросил нас, сообразила она, готовясь упасть в озеро чистого нежного счастья. Как, наверное, и все, стоявшие на поляне.

Народ мары зашевелился и зароптал, рождая радостный вопль на весь мир, но сам его и убил единым выдохом. Народ мары умолк и перестал дышать, глядя на Мать-Гусыню.

И та оторвала наконец странный, небывалый для нее непонимающий взгляд от Арвуй-кугызы, запрокинула голову и старательно вдохнула, за весь свой народ и за себя, не дышавшую все это время, и зажала рот обеими ладонями, будто чтобы не закричать.

Да не будто. Впрямь чтобы не закричать.

Айви вдруг стало страшно.

Страшно, как не было никогда.

Она не понимала почему. Ведь Арвуй-кугыза не ушел к богам, он не бросил свой народ, он остался с ним. Значит, хорошо будет.

– Война будет, – тихо сказала Мать-Гусыня.

8

– Конечно, будет, – сказал Фредгарт. – Дикари зашевелились, отовсюду сообщения – из степи сухой и морской, с гор и из пустынь…

Он махнул рукой на кипу бумаг, свитков и выжженных обрывков, сваленных на столе, и закончил усталым голосом:

– Люди сходят с ума и боги сходят с ума. Лето было долгим, дожди обильными, травы тучными, урожай у всех у вас выдался двойным и двукратным, да-да, кое-где и трех. Теперь он начинает гнить, быстро. У всех так? Вот. И это полбеды.

– Вода, – сказал Айкин из Хоммайока.

Фредгарт кивнул.

– Вода. В колодцах гниет, в скважинах горчит, в реках цветет. Причем только в городах: чем дальше от стен – тем чище и спокойней. Искали отравителей, искали колдунов, многие признались…

Он осмотрелся и пожал плечами. Послы входящих в союз вольных городов и земель кивали, никто не ухмылялся.

Фредгарт продолжил:

– Все мы думали друг на друга, все успели сделать самые решительные выводы. Почти все, кто не идиот, полагаю, уже поняли, что друг на друга грешили зря.

Артехе из Аттамрога и Стурлу из Боргарвика переглянулись с тонкими улыбками.

– И на дикарей тоже, – заверил Фредгарт. – Дикарей точно так же начинает вытеснять их земля, может, чуть помедленнее – но, может, и наоборот. Но именно в дикарях наше спасение. И в надежде на то, что это правда божье попущение.

– Я немножко устал, – признался Стурлу. – Я думал, мы про поход на Рав говорить собрались, а про богов я и дома послушаю.

Фредгарт поморщился.

– Про Рав что говорить, с ним всё понятно. Срединная река, основа Великого торгового пути; кто на ней сидит, тот хозяин торговли и владелец врат мира.

– Мира дикарей, – вставил Артехе.

– Мира риса, перца, ча, кахвы и здоровых семян, – кротко поправил Айкин. – Ты давно со своих запасов хороший урожай получал?

– Я тебе деревенщина – такие вещи знать? – возмутился Артехе, но тут же вздохнул и согласился: – Давно.

– Значит, Рав нам нужен, – сказал Фредгарт. – И его в любой момент могут перекрыть дикари. И если с норгами и русами мы договориться можем, то срединная часть под лесными колдунами, с которыми не договоришься. Они не понимают ни силы, ни подкупа, ни ласки. Могут в любой момент закрыться или придумать что-то такое, что мы останемся отрезанными от остальной земли.

Стурлу засмеялся и подытожил:

– Всё как всегда, короче. Богам поклон, что колдуны русло больше не меняют, реки не перекрещивают и озёра в одно не сливают.

Собрание загудело воспоминаниями. Стурлу продолжил:

– И еще поклон, что силовые заряды придумали и нам позволили подглядеть. С самокатами и карами жить-то полегче, еще бы выращивать так же научиться… Ладно. Пусть себе выращивают, а нас пусть прикрывают, как раньше прикрывали, от аваров, от команов, от хунов, от элинов, от ромеев, от фарсов, от… Сколько же их, а? И все голодные, и все настырные, и все с богами, а тут нашим-то тесно.

– Богам тесно, нам просторно, – вступил наконец Одотеус из Убирена.

Фредгарт напомнил:

– Пока степь не пришла. Когда придет, будет нам и земли мало, и новый путь придется через степь прокладывать. Но это не мы через нее, это она через нас путь проложит, этот Фестнинг снесет, а с ним весь Вельдюр, чтобы овцам не мешал. А до того через ваши города пройдет.

Он помолчал, ожидая возражений. Никто не возражал. Особенно показательно не возражали Айкин и Артехе, хорошо знакомые с методами степного хозяйствования.

– Не вижу связи с Равом, – отметил Одатеус. – Он как-то помешает степнякам снести Убирен и Вельдюр?

– Поможет точно, – сказал Фредгарт. – Они копятся в дельте Рава и вдоль Сакского побережья и поднимаются севернее.

Собравшиеся переглянулись. Айкин попросил:

– Доказательства?

– Толку в них, – легко ответил Фредгарт. – Если спрашиваете, значит, не поверите. Значит, начнете собирать сами. Собирайте, время пока есть. Последнее.

Стурлу поморщился и сказал:

– Страшилки про последнее время я в детстве любил, а сказки к дряхлости полюблю. Про то, как мы колдовскую землю покорим, например. Ты же про это хочешь рассказать?

– Только если ты хочешь послушать, – проговорил Фредгарт осторожно. Момент ответственный, важно не пережать.

– Все-таки будет сказка, значит, – удовлетворенно отметил Стурлу. – Причем сразу страшная. Послушать послушаю, но самому лезть или своих людей в их землю посылать – не-ет. Лучше уж дома медленно сдохнуть, чем быстро и страшно там. Знаем, помним. У меня дед…

– У всех деды воевали, – отрезал Фредгарт. – Всем есть что рассказать. И мне тоже. Рассказываю самое главное: вокруг Рава люди не болеют. Совершенно. Даже легочный червь туда не проникает, доказано.

Собравшиеся переглянулись и зашумели. Фредгарт подождал столько, сколько нужно было для того, чтобы каждый из них примерил это соображение на себя, на свою землю и на свой город, в течение полувека минимум дважды – каждый – выкошенный новой заразой, заставляющей выхаркивать легкие и сгнивать заживо, – и продолжил:

– Второе главное вы знаете: пока земля колдунов и впрямь не пускает никого, кроме племен, что живут там и что родственны им. Но есть средства, которые…

– Трехсмертник, что ли? – пренебрежительно спросил Айкин.

Фредгарт, сдерживая раздражение, кивнул.

– Точно сказка, – сказал Айкин. – Прав Стурлу. Посади особое семя в земле обета руками местной грешницы, вырастет цветок, корень которого позволит любому войти в эту землю и подчинить ее людей. Если мы из-за этого собрались – боги, я жалею их и нас. Нет никакого трехсмертника. Не бывает. Все про него слышали, но что-то никто не видел человека, который его использовал и вернулся.

– Я видел, – прервал его Фредгарт. – Лично, живого.

– С добычей? – уточнил Айкин.

– С доказательствами, что он через земайтов и водь дошел до земель диких колдунов и вернулся.

– Так он просто голову морочил, – сказал Одатеус. – Сам наверняка из местных, а где земайт, там водь, где водь, там колдун. Бабка с колдуном гульнула, вот его всякая земля там за своего и принимает. Как звать-то его?

– Ульфарн, – сообщил Фредгарт с удовольствием.

Лицо Одатеуса изменилось, он уточнил:

– Из Бергорна?

– Других не знаю, – согласился Фредгарт, наблюдая за Одатеусом. Ему очень нравился поворот, в который загнал беседу самый строптивый из собеседников. А я еще имя не хотел называть, подумал Фредгарт весело.

– Что ж, – сказал Одатеус. – Ульфарн – чистый убир, излишне даже. Я бы с радостью от родства с таким отказался, но увы. Не то чтобы я ему совершенно верил, но он аккуратен, так что если есть доказательства, верить приходится.

– Кто таков? – спросил Артехе.

– Разработчик на договоре, – объяснил Фредгарт. – Бергорн, я так понимаю, покинул по веским причинам, не позволяющим надеяться на скорое возвращение.

– О да, – подтвердил Одатеус. – Поразрабатывал там на три колесования.

– Вот ведь. Но здесь к нему претензий нет, разрабатывает строго в чужих землях и в рамках договора. Говорят, чрезмерно, э-э, решителен и суров с дикарями и иными чужаками, но рапортов нет, а чужаки почему-то нам не жалуются.

Никто не засмеялся, поэтому Фредгарт сухо продолжил:

– Вопрос не в этом, а в том, что Ульфарн опробовал трехсмертник в деле. Заверяет в его эффективности, и главное – может добыть корень, выращенный в земле колдунов.

– Один он не пройдет, – сказал Айкин.

– Кто ж его одного такого пошлет? – удивился Фредгарт. – Сопроводим испытанными людьми, они сейчас его ублажают.

– Баба нужна, – авторитетно заявил Стурлу. – Без бабы по колдовским землям не пройти, хоть с трехсмертником, хоть на молоте Тора верхом.

Фредгарт поднял брови, выпятил губу и сообщил:

– Есть основания полагать, что ее поиском он сейчас и занят.

– Значит, найдет, – сказал Одатеус без особой радости.

Часть вторая

О крови не беспокойся

1

Солнце было ярким, а ветер жестким. Вокруг щурились, ёжились и поругивались, а Альгер наконец-то чувствовал себя дома. Город из неясно-бурого стал четким серым с бежевыми, белесыми и угольными вкраплениями крыш и башен, под ногами перестало чавкать. И грязь, что, высохнув, поднялась к носу и глазам малозаметной, но колючей пылью, Альгера не злила, а заставляла умиленно вспомнить первые походы и развертывание в степи. Пыль, ветер и солнце. Молодость.

Альгер застыл на перекрестке и засмеялся, вынимая из глаза особенно упорную соринку, как перед самым первым боем с кочмаками – тогда Эбербад ему,

помнится, даже по уху съездил, чтобы помочь стать в строй поскорее. Альгер за это довольно долго ненавидел Эбербада, до самого начала боя, и всерьез подумывал в суматохе зайти со спины и небрежно повести лезвием, но кочмаки прорвали левый фланг, и стало не до того. Альгер получил стрелу под рёбра, и Эбербад полночи пер его сквозь пыльную траву, глинистые овраги и едкий солончак, и еще пару раз съездил по уху и по губам, чтобы Альгер не стонал, и Альгер, придя в себя, цеплялся за бьющую руку и за руку волокущую, нежно пожимал их, покряхтывая от боли, и пытался заглянуть Эбербаду в глаза, чтобы тот понял, как Альгер ему благодарен и как не хочет, чтобы Эбербад расстроился и бросил его здесь, в пыли под утихшим ветром, ушедшим солнцем и хрустом шагов кочмаков, которые лениво перекрикивались и так же лениво резали раненых гетов.

Альгер вытер слезу вместе с застывшей улыбкой, локтем привычно отодвинул поглубже заворочавшуюся в боку боль – и чуть не грянул наземь от мощного толчка в спину.

– Встал тут, – сказали ему и прошли дальше со скрипом и звяканьем.

Вконец стражи, твари, обнаглели, подумал Альгер с бессильной злобой, выпрямился и замер в приятном изумлении. От него удалялись две широкие спины в походной одежде. Почти армейской – но только почти. Знаков принадлежности к страже, союзной службе или просто к армии на них не было.

– Стоять, – скомандовал Альгер, кладя ладонь на рукоять ножа.

Широкие спины застыли немедленно и одновременно и поворачиваться стали тоже очень слаженно. Тем интереснее будет, подумал Альгер с растущим удовольствием и начал:

– Это город, молодые люди, здесь так…

И замолчал, всматриваясь.

Один из двоих, костистый, с ввалившимися глазами, чуть склонил голову к плечу, ожидая продолжения. Второй, плечистый и пузатый, глядел на Альгера, постепенно строя все более дикую рожу. Такую же, очевидно, какую строил Альгер.

Альгер снова поправил локтем занывший бок и выдохнул:

– Эбербад.

– Боги нетрезвые! – взревел Эбербад, в два шага оказался перед Альгером и растроганно съездил ему по уху.

Они с Ульфарном, костистым молчуном, только что вернулись из тихой разработки в земле вендов. С вендами недавно был заключен торжественный мир, пятый и вечный, – вечный, впрочем, третий, – так что никаких разработок, вылазок и походов в отношениях двух замирившихся сторон быть не могло. Их и не было, Эбербад с Ульфарном в составе отряда мирных землеведов просто изучали лесную пограницу родного края, а если изредка пересекали ее, то чисто случайно. И про опального ярла Вальдемара выпытывали у местных из праздного любопытства, да не так уж и пытали. Никто же Вальдемара не тронул, в конце концов, жив, здоров, строит козни, пока более удачливых землеведов не дождется.

И жители пограничных деревень кормили и привечали отряд Эбербада сугубо добровольно и из добрососедских отношений, а про повешенного старосту и две сгоревшие деревни Эбербад даже не слышал и рассказывать не собирается. Разве что чуть-чуть, про самое интересное.

– Там таки-ие девки, – рычал он, больно хватая Альгера за локоть. – Глаза черные, волосы белые, грудь – во!

Он разжал руку, чтобы обозначить размеры, и Альгер поспешно перебросил куртку на ближнюю к Эбербаду руку. Ульфарн слегка усмехнулся. Он был не трезвее товарища, но явно приметливее.

– Мягкие! Сладкие! Целые! – выл Эбербад.

Прохожие, опустив глаза, переходили на другую сторону улицы. Альгер неловко улыбался, пытаясь принять одновременно и извиняющийся, и понимающий вид. Ульфарн наблюдал.

В любом случае, это было интереснее, чем неизбежно начинавшие беседу жуткие рассказы о наступлении с юго-запада засухи, убивающей урожай и превращающей плодородную землю в топь, которая поглощает дома и уже принимается за людей. Альгер, наслушавшийся такого по службе, был рад тому, что в земле вендов разработчики не обнаружили бед тягостнее, чем строптивые селяне. Слушать про покладистых и сладких было еще приятней – ну, до третьего повтора и перехода от слов к жестам.

– Це?лую хочу, – сказал Эбербад и остановился, прицельно поводя головой. – Мягкую. Вон там.

Он ринулся через улицу, распугивая и чуть не переворачивая повозки. Альгер, вздохнув, последовал за ним. Ульфарн, похоже, не отставал.

В замеченный Эбербадом веселый дом их не пустили. Привратник сказал, что пьяным и военным в веселые дома на центральных улицах нельзя, приказ мастера. Эбербад с этим смирился и дал увлечь себя в торговый район. Отказ в тамошнем веселом доме, «девочки отсыпаются, приходите вечером», он тоже принял с удивительным спокойствием. Но в третьем, откровенно занюханном клоповнике, Эбербад взорвался и дал холую в рыло. Тот, признаться, сам нарвался – был высокомерен и не потрудился придумать хоть какое-то объяснение. Но извиняться перед ним пришлось долго – Альгеру, и вытрясать половину дежурного кошелька на возмещение ущерба – тоже ему. Обошлось бы и без этого, не убили же, даже нос не сломали. Но мимо проходила стража, да и за спиной у отсмаркивающего кровь холуя обнаружилась табличка Желтой гильдии, связываться с которой не стоило ни служивым, ни разработчикам.

В итоге Альгер взялся найти мягких и целых самостоятельно.

Улицы становились у?же и темнее, стены – грязнее и облупленнее, под ногами снова чавкала грязь, до которой солнце не дотягивалось никогда, Эбербад бурчал про падение нравов, забытый страх и крайнюю степень неуважения, которую народ демонстрирует своим защитникам, Ульфарн слушал, а Альгер брел, все горше сожалея о том, что встретил старого товарища.

А куда деваться. Память молодости есть память молодости, а долг жизни есть долг жизни. Первую надо хранить не отвлекаясь, второй – отдавать не жалея. А если жалеешь, никому не говори и не показывай виду.

Впрочем, долго жалеть не пришлось. Сразу за храмом Фрейи обнаружилась большая баня самого заманчивого вида и оснащения.

– Ждите здесь, – велел Альгер и пошел договариваться, но с полдороги вернулся и еще раз велел ждать здесь и не двигаться, пока он не позовет, а то опять…

Эбербад обиженно заворчал, но не стал выяснять, что там «опять» и не его ли в этом «опять» попытаются беспричинно обвинить; Ульфарн же кивнул и показал, что удержит товарища, если надо.

Обоим, к счастью, хватило ума не высовываться, так что Альгер сумел договориться с лысым безбородым типом южного вида и о палате с парилкой, и о девочках. Девочки выходили дороговато, но раз в жизни Альгер мог себе такое позволить, к тому же сам пользоваться их услугами не собирался. У него была Розамунда, которая всяко красивее и приятнее любой продажной девки. Боевых товарищей уважить необходимо, но и всё на этом.

Ну и посмотреть с безопасного расстояния забавно, наверное.

Альгер не слишком любил развратные досуги других народов, что южных однобожников, что восточных и северных колдунов, поэтому не бывал ни в термах, ни в савунах, ни в хамамах, предпочитая мыться дома или в речной запруде, пока она не зацвела. Но озирался он с большим интересом, заранее готовясь сдержанно содрогнуться от омерзения и стыда за разврат и грязь, обыкновенно скапливающуюся под стенами храма, как под любой красивой надстройкой, имеющей грешное человеческое основание.

К некоторому удивлению и даже разочарованию Альгера, ни галерея, которой они прошли, ни выделенная им палата постыдного либо развратного впечатления не производили: сыровато, темновато, душновато, звук тревожно дробится и прыгает между стенами, как попиленный на шайбы чурбан, но в целом довольно чисто, камень светлый или белый, и запахи не дерзкие, а приятные и умиротворяющие: уголь, смола, пиво и жареный ячмень.

Жбан с пивом и несколько стаканов стояли на столе. Эбербад немедленно плеснул себе и выпил раз и другой, рыгнул, невнятно, но одобрительно буркнул сквозь пену, облепившую усы и бороду, и принялся раздеваться. От него поперло перекисшим потом и иными немытостями. Альгер хотел высказаться в

пользу предварительного, причем немедленного, помыва, но передумал.

Ульфарн понюхал жбан, пить не стал, кивнул и выжидающе посмотрел на Альгера. Альгер, потоптавшись, пошел было за лысым, но тот уже вводил четырех девок в обычном городском платье.

Куда нам четыре, чуть было не сказал Альгер, но Эбербад его опередил:

– Это все, что ли? Кого из этого выберешь?

Девки равнодушно улыбнулись его груди, начавшей уже обвисать на мощное пузо, и приняли позы, заученные годы тому как. Левая, что погрузнее, так даже, наверное, не годы, а десятилетия. Девка справа, наоборот, оказалась отчаянно молоденькой и плоской, кроме лица – лицо как у хорька. А вот пара в середке была пригожей, аппетитной и на все вкусы: одна потемней и пониже, вторая порыжей и повыше, обе грудастые, но без свисающих боков. От темненькой Альгер и сам не отказался бы, напомнила она ему одну там, такую, что и углубиться в воспоминания не грех, со всех сторон. Но еще бо?льшим грехом было не помнить Розамунду, да еще под стенами храма Фрейи, богини, не видящей разницы между любовью и войной. Поэтому Альгер поправил перевязь – отчего темненькая ухмыльнулась и сделала движение руками и бедрами, – и резво сменил предмет размышлений.

Они поэтому, наверное, так и встают, догадался Альгер, чтобы крайних отбрасывали, а брали средних. Крайние, может, и не сдаются вовсе, а создают видимость обильного выбора. Старая уж точно доплачивать должна.

Эбербада как будто возмутила такая же мысль.

– Ты бы еще козу с подворья притащил, нагнал тут… Рабыни, что ли?

– Какие рабыни? – спросил лысый с искренним недоумением, забыв, что должен возмутиться.

Эбербад, невнятно ворча, шагнул к столу и плеснул себе еще пива. Девицы переглянулись и пошли к двери.

– Ты, рыжая, останься. И короткая тоже, – сказал Ульфарн неожиданно низким, даже певческим каким-то голосом. Из жрецов, что ли, подумал Альгер.

Рыжая остановилась, темненькая тоже.

– Не ты, вот эта, – пояснил Ульфарн, ткнув длинным пальцем в сторону мелкой.

Мелкая посмотрела на лысого, тот дернул глазами и с улыбкой осведомился:

– Еще чего-нибудь любезным господам?

– Еще пиво и бабу, – велел Эбербад, опрастывая жбан в стакан.

– Пива такого же желаете? Есть конопляное и анисовое.

– Пиво такое же, бабу другую. Мягкую и целую.

– Целых нет, – отрезал лысый, выпрямляясь. – Тут термы, а не жертвенник.

– А это можно легко… – начал Эбербад, развеселившись, и Альгер торопливо перебил:

– Братья, двух вам хватит, а я пас, у меня жена.

Ульфарн засмеялся, разглядывая Альгера, будто привозного зверя. Альгер старательно улыбнулся в ответ, отметив краем глаза, что лысый быстренько увел матерую и темненькую, и даже порадовавшись мельком, что самая пригожая этим не достанется. Оставшиеся девки тихо дышали в углу. Понимали.

Эбербад примиряюще пояснил Ульфарну:

– Брат, в Вельдюре с таким серьезно, у них же контракты… Контракт у тебя, да?

Альгер дернул щекой, некоторое время разглядывал руки Ульфарна, вольно лежавшие на перевязи, и предпочел коротко кивнуть. Эбербад продолжил:

– У них такие контракты, уши режут, если что, у-у. Страшное место этот Вельдюр, да, сестренки? Жаль, что бережливый такой брат Альгер, уши пожалел, а? Ну понимаем, понимаем. Баба-то не тебе, баба мне нужна. Я чего шел? Мне нужна мягкая целая. И где она?

Эбербад выразительно рассмотрел девок, которые немножко ожили, но благоразумно помалкивали, рассмотрел остальную комнату, не обойдя взглядом ни Альгера, ни Ульфарна, и удрученно развел руками, показывая, что мягкой целой нет. Подумал и добавил:

– То есть я могу и так, да, за братца порадоваться, а, Ульфарн, порадуюсь за тебя? А сам попощусь. Потоскую.

Он ухватил стакан и принялся заливать скорбь пивом, приговаривая после каждого мелкого глотка:

– Не заслужил, значит. Мягкую целую. Чтобы глаза черные, а волосы светлые. Не по рылу моему и не по статям, значит. Значит, город и народ плохо защищал. Кочмаков и вендов мало резал. Спасал вас плохо.

– Ладно, – сказал Альгер, чтобы не сказать ничего другого. – Найду тебе мягкую светлую.

Он вышел из палаты, постаравшись не хлопнуть дверью, и остановился, покачиваясь и дожидаясь, пока уйдет из глаз черное бешенство. Естественно, никакую мягкую светлую он искать не собирался – да и не умел. За такие слова и манеры по-хорошему следовало не бабой, а ножом награждать, но случай был особым, а долг – застарелым.

Оставлю денег лысому и уйду, понял Альгер с облегчением, сделал шаг и чуть не сшиб внезапно шмыгнувшую мимо женщину. Пришлось придержать ее, чтобы не упала и чтобы не сбежала.

Она прошлась по Альгеру пронзительно черными глазами, повела удивительно мягким плечом, убирая с лица пшеничную прядь, и сказала негромко, но очень уверенно:

– Ты, мастер, или прижми, или отпусти, чего держать-то без толку?

– Не убежишь? – спросил Альгер, лихорадочно соображая.

– А надо?

– Не надо. Здесь работаешь?

Мягкая светлая улыбнулась:

– Подрабатываю.

Альгер убрал руки, отступил на полшага и рассмотрел собеседницу с растущим восторгом и облегчением. Она ответила оценивающим взглядом. Альгер к таким женским взглядам не привык, ну да что он знал о нравах веселых домов и терм. Девка, наверное, вымывала здесь за гостями или кухарила, ну и в палаты забегала, если звали. А чего не звать – девка не то чтобы видная, невысокая, скулами и плечами широкая, а ногами худоватая, откровенная кочмачка или еще какая степная поросль, и одета на редкий даже для степняков манер, с ремешком или завязкой чуть ли не на каждом суставе, но вполне пригожая, да и страсть к сочетанию мягкого, черного и белого гложет, возможно, не одного гостя.

Альгер задрал ладони в знак чистых намерений и спросил:

– Хорошо заработать хочешь?

– С тобой, что ли? Так иди с хозяином договаривайся.

– Он тебя скрывает пуще драгоценности, – сказал Альгер и сообразил: – А. Деву изображать умеешь?

– Дяденька, голову лечи, – сказала девка зло и повернулась, чтобы уйти.

Альгер прянул к ней и тут же качнулся обратно, задрав ладони выше.

– Ну дружок у меня, должен я ему, вбил в голову, пьяный очень, – горячо зашептал он, гадая, что за звуки толчками выходят из-за двери, нехарактерные даже для веселых терм.

Девка тоже услышала и пыталась разобраться. А то и разобралась уже, судя по остановившимся глазам.

– Три мерки даю, – торопливо сказал Альгер. Цена была несуразной, он за три сговорился с лысым на всё – палата, парилка, две девки и жбан пива, – но куда деваться.

– Покажи, – велела девка против всяких правил и приличий, да не до них уже было. За дверью отчетливо раздался женский вой, пресеченный ударом. Альгер оглянулся на дверь и пробормотал с досадой:

– Да что ж они. Все в порядке будет, обещаю. Пойдем скорей, а?

Он хотел сказать девке, что входить без нее – только раззадоривать всех, тогда пусть уж лысый сам разбирается, а вот новая девка наверняка отвлечет и смягчит Эбербада, а там можно будет уйти от ударов в слова и заболтать неприятность так, чтобы она стала терпимой. Без девки никак.

– Деньги, – напомнила она, не отрывая неприятно черных глаз от бороды Альгера.

Альгер поспешно вытащил кошелек и показал его нутро девке:

– Вот, семь мерок, три хозяину, три тебе, по чести.

– И там все в порядке будет? – осведомилась она с непонятным выражением. – Ты поручился, так?

– Да-да, – торопливо буркнул Альгер, мельком удивившись обширности лексикона дикой кочмацкой девки. – Идем?

Уже толкнув дверь, он спохватился:

– А девственность-то, кровь?..

– О крови не беспокойся, – сказала степнячка, подталкивая Альгера в спину.

Никто не смел трогать Альгера без его согласия, кроме жены и командира, но дать урок нахалке он уже не успевал – да и не до того стало.

Девка советовала не беспокоиться о крови. Она ошиблась.

Альгер понял, что тоже ошибся, но сообразить, сколько раз и когда впервые, уже не успевал.

Эбербад сидел за столом. Голая грудь и борода у него были неровно перепачканы кровью. Не его кровью, а рыженькой девки. Она была плохо видна и еле слышна, потому что стояла на коленях, а Эбербад, ухватив ее за волосы, прижимал лицом то к своему животу, то ниже, не давая ни вскрикнуть, ни задохнуться. При этом он сердито бормотал под нос про то, что не заработал, оказывается, ни на мягкую светлую, ни на пиво, а свободной рукой теребил, потряхивая, пустой жбан.

В углу всхрапнули, и Альгер перевел взгляд туда с ужасом: кряхтение было совсем не женским. Оно и не было женским: кряхтел Ульфарн. Он, даже не раздевшись, возился над распростертой мелкой девкой. Альгер не сразу разобрал, что именно Ульфарн делает с нею, потом ужаснулся, домыслив подробности, потом с облегчением понял, что правдой это быть не может, ведь даже с мертвым человеческим телом такое творить затруднительно, а потом просто привалился спиной к стене, пытаясь не рухнуть, ведь Ульфарн делал с мелкой именно то, что увидел и домыслил Альгер. А она даже не стонала. Видимо, была без сознания. Только безвольно моталась на тонкой шее залитая кровью голова. Кровь была слишком черной и густой.

– Эбербад, я нашел, – услышал Альгер слабый голос далекого незнакомца, задумался о том, откуда здесь взялся незнакомец, поспешно захлопнул рот и прикрыл его ладонью, сообразив, что это никакой не незнакомец, а он сам говорит, обращая внимание рехнувшегося Эбербада на себя и на ни в чем не виноватую кочмацкую девку, и что самое мудрое, что он может сейчас сделать, – это схватить несчастную светлую мягкую за шиворот и бежать прочь, мимо лысого, мимо ворот, мимо прохожих и мимо стражи, надеясь на то, что никто не

успел его разглядеть, запомнить и что никто не сможет найти.

Но сил бежать не было, ни на что сил не было, только на то, чтобы стоять и смотреть, как Эбербад вздергивает голову, разглядывает вошедших, и его слипшиеся в кровавые сосульки усы расползаются от улыбки, как ножки надувающейся гусеницы.

– Све-етлая, – протянул Эбербад и отшвырнул рыжую от себя.

Она рухнула на пол и потихонечку поползла, не видя куда: один глаз затягивался огромной опухолью, а нос был явно сломан, с подбородка густо капало. Ползла она куда не надо, к Ульфарну.

Тот, к счастью, не замечал.

А Эбербад медленно восстал и двинулся к двери, радостно причитая сквозь кровавую бороду:

– Вот брат ты братишечка мой милый, вот и нашел, что нужно старику. Сейчас старик отдохнет наконец. Сейчас старик заслужил, так выходит. Сейчас старик получит заслуженное.

– Он меня бить будет? – слишком хладнокровно осведомилась кочмацкая девка.

Она даже не пыталась выскочить в коридор, наоборот, давила дверь лопатками, будто нарочно, чтобы та закрылась потуже. Лицо у девки покраснело, словно от удовольствия, только складка между бровями осталась белой.

Альгер поспешно замотал головой, и Эбербад, улыбнувшись еще шире, повторил это движение так, что с усов сорвалась пара густо черных капель.

– Зачем бить? – удивился он. – Я женщин не бью, миленьких таких, мяконьких таких, светленьких… Вот эту я же не бил, несмотря что рыжая.

Он попытался, не глядя, ткнуть рыжую ногой, но та уже отползла, так что Эбербад потерял равновесие и чуть не рухнул на пол.

– Сделаешь хоть что-нибудь? – уточнила светлая, зыркнув на Альгера и снова уставившись на Эбербада и немного на Ульфарна.

Тот порыкивал все ритмичней и на происходящее рядом внимания не обращал.

– Эбербад, ты рехнулся? – слабо спросил Альгер сквозь ком в горле и груди. – Стража же… Повесят же.

– Меня? – изумился Эбербад. – За девку продажную – меня, воина, честного командира, который кровь за вас проливал?

– Вот так и проливал, значит, – сказала светлая, присев и качнувшись из стороны в сторону.

Коленки у нее, видать, тряслись, сколь бы твердым ни оставался голос.

– Сла-адкая, – промычал Эбербад. – Сейчас- сейчас, покажу как.

Он внезапно очень трезво посмотрел на Альгера и сказал:

– А если что – откупишь. Ты мне жизнь должен, помнишь ведь? Вот и плати, братишка.

Он кинулся на Альгера, и Альгер, не думая, рухнул набок, выдергивая нож, но не смог выдернуть, поскольку на ножны и рухнул.

Удар, шипение, легкие шаги.

Альгер завозился, перекатываясь на спину, и обнаружил, что Эбербад примерно так же неловко барахтается на полу у двери, с недоумением поглядывая на неправильно вывернутую ногу, а светлая идет в глубину комнаты, на ходу поправляя пятку мягкого сапога. Эбербад, значит, кинулся не на Альгера, а на светлую, а она увернулась так ловко, что нападавший влетел в дверь и кулаком, и лицом.

К тому времени, как Альгер понял это и попытался встать, светлая, перешагнув через рыжую, нагнулась к всхрапывавшему все отчаяннее Ульфарну и без

размаха ткнула его не костяшками, а мягким низом кулака в загривок и сразу в ухо, повернулась и пошла к Эбербаду.

Ульфарн молча, даже не всхрапнув напоследок, рухнул лбом в пол рядом с головой мелкой девки. И замер.

Эбербад, возможно, понял, что это значит, и попытался собраться, чтобы встретить светлую, а та свела и развела кулачки и легонько, все так же, мягким низом, тюкнула одним Эбербада в глаз, а другим под горло.

Эбербад схватился за лицо и за горло и завопил, сквозь пальцы потекло черное, а светлая, подмигнув Альгеру, издала стон, высокий и такой нежный, что Альгер, потерявшись, выпустил из руки пойманную наконец рукоять ножа, чтобы придавить постыдное и неуместное вздымание плоти.

Эбербад завопил громче и заглянул правым глазом в полные крови ладони. Вместо левого глаза у него было вдавленное синеватое веко, из-под которого будто стекало разбитое яйцо с багровым желтком. Из черной дырки между ключицами толчками бил фонтанчик крови. Светлая тоже простонала еще сильнее и нежнее, отряхнула и сунула в тонкую подошву сапога похожий на спицу клинок, присела перед Альгером, смотревшим на нее с виноватым испугом, ловко выдернула его нож и полоснула по шее.

Альгер поморщился от короткой боли и мерзко затопившего рот и горло душного потока, тронул скользкую шею, ужаснувшись размеру раны, которую трудно будет зашить, да и шрам останется, и жалобно поглядел на светлую.

Зови лекаря, попробовал сказать Альгер, соображая, что правильнее: позволить крови стекать на пол или глотать ее, что плохо для желудка, – но не смог ни сказать, ни понять.

Эбербад за спиной девки закричал отчаянно. Светлая тоже увеличила громкость и торжество стона, так что во дворе или на улице засмеялись и подбадривающе засвистели. Очень недалеко отсюда. Там, оказывается, продолжалась и будет продолжаться нормальная человеческая жизнь. А здесь была только смерть, умеющая счастливо стонать с каменным лицом и по колено в крови.

– Я же говорила, о крови не беспокойся, – странно гнусавым, не идущим ей голосом протянула светлая, ловко нашаривая и выдергивая кошелек Альгера. – Не бойся, у тебя быстро будет. Ты парень неплохой, просто обещание держать не умеешь. Можешь посмотреть, что с плохими бывает.

Она очень горячей рукой подняла и будто подклеила тяжелеющие веки Альгера, встала и подошла к Эбербаду.

Тот какое-то время пытался сопротивляться, а Альгер какое-то время смотрел, что бывает с плохими. Но оба не успели пожалеть о том, что были недостаточно хорошими.

Последнее время наступает и выходит по собственному усмотрению.

2

Небо было, как всегда, огромным и всеобъемлющим, перечеркивавший небо Гусиный путь остро сиял, как солончак в полдень, сияли и созвездия, названия которых она не знала, поэтому придумывала сама: Стадо жеребят, Лепешка, Котел с Бараньей ногой, Брат и Сестра, – и каждая звездочка была как прокол черной страшной бездны, сквозь который ночью пытается продавиться невероятный жар ночного, спрятанного, но куда более лютого, чем дневное, солнца, чтобы упасть на землю и сжечь ее. Если небу, которое днем и ночью любуется на землю и живущих на ней людей, перестанет нравиться вид, оно позволит ночи затянуться. Тогда ночное солнце сквозь проколы звезд доберется до земли – и наступит Ахыр заман, Последнее время. Но пока небо терпит. Раз за разом приходит рассвет, и дневное солнце выталкивает ночное из дозволенного участка мира.

Наверное, так будет и сегодня, сонно подумала она и прикрыла глаза, но тотчас поёжилась. К костру шел Тотык, разговаривая с кем-то на незнакомом языке. Язык был странный, с неправильными твердыми звуками и какой-то неровный, будто говорящий подпрыгивал, отчего тон бродил вверх-вниз, а слова точно обрывались и начинались с середины. Тотык сам не слишком умел обращаться с этим языком, поэтому слова у него звучали то слишком гладко, то потешно, а иногда не выходили совсем, и он с усмешкой переходил на родной. А его родного почти не знал собеседник Тотыка. Самые простые слова он произносил грубовато и неверно, да и голос у него был сипловатый и сдавленный. Но друг

друга они понимали.

Собеседник негромко настаивал на чем-то, а Тотык пытался отболтаться, со смешками и вроде бы вполне добродушно, если не расслышать брошенное вполголоса «Знаю я, что должен, потрох ты рыбий». Рыбий потрох у Тотыка был худшим ругательством, хуже оскорблений крови, матери и даже неба и отца.

Ей показалось, что и впрямь пахнуло рыбой, сырой вспоротой, затем сильнее – жареной, а затем отчетливо – просто углями на горячем железе, и она, так и не рассмотрев ничего, кроме двух зыбких силуэтов на фоне огня, поспешно прикрыла глаза, стараясь дышать ровно. «Мальчик, спать», – подумала она почему-то. Щеке стало жарче, над веками загуляли красные и желтые полосы. Сипатый что-то сказал, Тотык возразил, утомленно добавив:

– Сядь праведно.

Она не поняла, что это ей, и Тотык предупредил уже знакомым тоном:

– Накажу. Глаза открой и сядь праведно, на тебя посмотреть хотят.

Она без суеты, но и не мешкая, заворочалась и села на кошме, не поднимая головы. Жаровня с углями приблизилась, почти обожгла левую щеку и заставила выбившиеся из-под платка волосы скрутиться, воняя паленым, прошла кругом мимо лба к правой щеке, опустилась к подбородку. Твердый холодный палец, воняющий не рыбой и не углем, оказывается, а мокрым железом, ткнулся в губы – она вздрогнула, – приподнял верхнюю, оттянул нижнюю, проехал от переносицы к кончику носа и убрался.

Она поспешно отъехала по кошме назад, боясь поднять голову. Сипатый усмехнулся, они с Тотыком опять заспорили, причем Тотык злился все сильнее, повторяя то «Кошчы», то «Кул», и вдруг похлопал ее по плечу, веля встать, и сказал на понятном языке:

– Кула бери, если хочешь, я не возражаю, приказ есть приказ. Девку не отдам. Кто в даваре служить будет, стряпать, котел мыть?

Сиплый как будто поддакнул ему и засмеялся. Тотык зло возразил:

– Да она мелкая еще, под небом-то не греши.

Сипатый, подняв жаровню повыше, снова осмотрел ее и легонько, так же, как по носу, провел пальцем по ремням от горла до живота. Она вздрогнула и вцепилась в штаны на бедрах, отчаянно боясь поднять взгляд. Нельзя встречаться глазами, как будто она согласна, или не согласна, или свободный человек, а не Кошчы.

Сипатый что-то задумчиво сказал, Тотык ответил и вполголоса добавил:

– Не бойся, не отдам тебя. Да ты и большая для него, ему соплюха нужна. Пусть Кула берет.

Какого Кула, мучительно подумала она, но не та она, что сидела недалеко от костра, покрываясь потом, ледяным от ужаса и немножко знойным от жаровни, а другая она, наблюдавшая откуда-то сверху и сбоку, ниже неба и выше костра, но сипатый опять длинно заговорил, сбивая с мысли, и Тотык кивнул чуть в сторону, где кто-то спал на такой же кошме, или не спал, а, как и она недавно, делал вид, что спит, обмирая от страха и тоски.

Сипатый цыкнул и сказал – и она вдруг его поняла, не она, вернее, а та другая, что смотрела со стороны, и не поняла, а как будто после долгого перерыва услышала песню на чужом языке, который выучила только сейчас.

Он сказал:

– Обидно, что тебе девка, а мне мальчик. Хоть жизнь ей облегчу слегка.

Холодный твердый палец уперся ей в подбородок, поднимая лицо. Она решилась поднять и глаза – и в глаза ударило ночное солнце, сломав ей голову светом, болью и невозможностью дышать.

Мальчик закричал.

Она села, судорожно пытаясь вдохнуть, и какое-то время металась невидящим взглядом по негустой тьме, а руки нелепо, как будто сроду не учились ничему, то болтались в воздухе, то накрывали переносицу, в которой клокотали вся

кровь и вся боль мира. Тут она вспомнила – мальчик закричал! – откинула простыню и повернулась к мальчику.

Мальчик не кричал, а спокойно дышал, сомкнув длинные ресницы, и луна нежно держала его прозрачным серпиком за обвод щеки, только этим да пятнышком на кончике носа обнаруживая свое присутствие в каморе.

Некоторое время она наглаживала воздух над мальчиком, как учил Золач, евнух, – не столько для того, чтобы убрать дурные сны, сколько для того, чтобы самой окончательно вынырнуть из дурного сна. Это ведь в ее дурном сне кричал мальчик, и это был не ее мальчик, а другой, но тоже ее, хотя такое невозможно – и вообще, и потому, что свои не забываются. Тем не менее она честно попыталась вспомнить, но, как всегда, лишь ухватилась одной рукой за невыносимо занывший нос, другой – за горло, чтобы сдержать тошноту.

Ей, наверное, надо было чувствовать благодарность к сипатому. Ее ведь и впрямь почти не трогали, а когда пытались тронуть, сразу отставали. Оно и понятно: днем гнусавит и дышит с похрюкиванием, ночью храпит на полдавара, а нос кривой и с течью всегда, днем и ночью, зимой и летом. Она и сама к такому привыкла, и, когда пять лет назад узнала, что хороший лицеправ может все исправить за полчаса, долго колебалась, не дороговато ли пять мерок за такую быструю, необязательную, да еще и болезненную, говорят, переделку. Насилу себя уговорила и ни разу не пожалела – ни о деньгах, на тот момент составлявших почти все ее скопленные за полтора года запасы, ни о переменах.

Из носа перестало капать, мужчины и даже некоторые женщины, в том числе давно знакомые, почти сразу начали разговаривать, трогать и предлагать всякое, что сперва пугало, потом радовало и занимало, но после надоело – ну и мальчик образовался. Отучаться от гнусавости пришлось довольно долго, нос до сих пор подтекал на сильных чувствах, переносица ныла перед дождем и в миг ярости, а от храпа, если верить отцу мальчика, не получилось избавиться до сих пор. Она и сбежала-то, чтобы не мешать спать хорошему парню. Ну, сама так считать привыкла, во всяком случае, – и кто докажет, что было не так?

И все это время она надеялась, что встретит сипатого. И боялась, что встретит его. Надеялась отомстить – и боялась, что слишком увлечется.

Сипатый наверняка давно сгнил, он, судя по голосу, был в возрасте уже тогда, предмет его занятий редко сопряжен с долгожительством, да и пограница союза со степью за дюжину лет пережила столько палов, засух и показательных охот на разработчиков, рейдеров и работорговцев, что шансов дотянуть до встречи с нею у сипатого почти не было.

Она хорошо это понимала – но еще лучше понимала, что ищет сипатого в каждом мерзавце и что первым делом сломает мерзавцу нос, а дальше уж куда вдохновение выведет. Тотык говорил, что без вдохновения воин равен мяснику, а мясники быстро тупеют.

Вдали вскрикнули, но не мальчик, а женщина или девица, и не истошно, а будто останавливая кого-то. Не самый обычный для предрассветного часа звук: в это время положено или храпеть, или сонно бормотать, собираясь на службу, или утомленно ругаться вдолгую на излете затянувшейся гулянки.

Впрочем, больше не кричали и не шумели. Бывает и такое. Хозяюшка отогнала перебравшего постояльца, веселая девка обуздала позволившего себе лишнее гостя, а может, девчонка шуганула козу от мусорной кучи.

Она послушала еще немного, почти успокоилась, но на всякий случай, с шептанием мазнув рукой над головой мальчика, тихонько встала, поправила лоскуты баулы?, подтянула распущенные на ночь ремни, влезла в войлочные туфли, с удовольствием ощутив пальцами левой ноги твердую холодную помеху, подошла к двери каморы, прислушалась, бережно, не скрипнув и не потревожив прохладного тока воздуха, приоткрыла дверь и выскользнула в коридор.

Коридор был пуст и залит, как воском, черной тишиной. Свет ей и не был нужен. Она уверенно, даже не считая шагов, а будто в такт так и не придуманной песенке, дошла до двери в тридцать пятую камору, она же пятая строчка песенки, очень осторожно, приподнявшись на цыпочках, ухватила за концы деревянную планку над дверью, потянула и на последнем остатке, когда спина уже стонала и готовилась то ли хрустнуть, то ли лопнуть в серединке, без щелчка вытолкнула эту планку вверх.

Беззвучно выдохнула, отбила несколько поклонов на южный манер, сбрасывая напряг в мышцах и суставах, вынула из левой туфли сперва ступню, затем, балансируя на правой ноге, монеты и, не сумев отказать себе в удовольствии

повыпендриваться, пока никто не видит, вытянула левую ногу в сторону, вверх, а потом, медленно и четко разворачиваясь на правом носке, выгнула торс, чтобы он и нога были отрезком прямой, поводила этим отрезком, как стрелкой компаса, туда- сюда по линии горизонта, выпрямилась, на том же плавном движении ловко втолкнула монеты в щель над дверью и поставила планку на место. Вернула на место и слегка подмерзшую ступню. Замерла. Прислушалась к себе и к миру.

Все было хорошо. Она была сыта, здорова и в неплохой форме, заработала за день больше, чем за месяц, хоть и куда меньше, чем надеялась, слегка очистила землю под небом и почти выспалась, несмотря на буйный и не то чтобы обыкновенно прошедший день.

Она собиралась всего-то проверить нечаянную наводку. Брунгильда, северная девка, снимала камору в соседнем крыле. На прошлой неделе за поздним завтраком в харчевне она рассказала землячкам, что хозяину терм ко дню стирки или даже ко дню Фрейи привезут на хранение кубышку манихейской теневой общины, и, кабы у девки был серьезный друг с надежным отрядом, можно было бы обеспечить всему отряду долгое безбедное существование в любом вольном городе союза. Северянки с хихиканьем пообсуждали это, посетовали на острую нехватку серьезных друзей, а лучше – целого отряда друзей, которые пригодятся не только в редких случаях, связанных с возможностью обнести манихейских трактирщиков и притонодержателей, но и почти каждый день, а лучше ночь.

Северянки разговаривали весело, уверенно и громко, полагая, что наречие руси, сословия, постоянно передвигающегося по рекам и заливам на гребных кнурах, в прилесных городах не понимает никто. Она тоже понимала с некоторым трудом, столько лет прошло, но главное уловила – и в тот же вечер пошла к термам на разведку. И на следующее утро пошла, и пробыла там до вечера. И так каждый день, пока вчера утром не увидела подвоз кубышки: сперва поодаль остановились три повозки с серьезными мужчинами, которые, побродив по окрестностям, рассредоточились по зданию. После во внутренний двор въехала пара укрепленных повозок и вывернула к главному подъезду. Из терм вышел отряд смешливых парней в черно-белых одеждах и с полностью выбритыми головами – у них, кажется, даже ресницы были выщипаны, – явно веселясь, попрощался с бледным от ответственности хозяином, погрузился в повозки и умчался.

Серьезные мужчины разъехались через полчаса, уверившись, очевидно, что кубышка хранится как надо и где надо.

Еще через полчаса она брела по коридорам терм, приглядываясь, принюхиваясь и выискивая признаки прохода к сокровищам, которые обеспечат ее, мальчика, а может, и детей мальчика на пять жизней вперед. Не успела.

Но жалела она не об утраченной навсегда возможности найти и забрать кубышку – в квартал Фрейи, понятно, ей больше не соваться, – а о том, что не успела услышать голос долговязого урода, терзавшего малолетку. Вдруг он был сипловатым. Хорошо, если был, жалко, что не услышала, – но спрашивать было некогда.

Об остальном она не жалела – ни о том, что зарезала троих, ни о том, что спасла двух продажных девок, ни, понятно, о том, что обеспечила себе и мальчику полгода если не сытой, то сносной жизни и стала на шаг ближе к выполнению главной мечты о тихой сытой жизни вдвоем.

Шага тоже немало. С него всё начинается, многое продолжается и кое-что завершается, иногда даже счастливо.

Со стороны каморы долетел звук. Скрип и вздох. Мальчик проснулся, поняла она и быстро, но по-прежнему тихо пошла к двери, которую оставила приоткрытой. У порога беззвучно шепнула: «Мальчик, спать» – и запнулась, сама не успев понять почему, но мальчик жалобно сказал: «Мама», и она шагнула за дверь и сразу дернулась к пятке, понимая, что бесполезно: клинки остались в сапогах, страж сбоку двигался быстро и умело, так что от лезвия возле уха она могла и не уйти, еще один страж в глубине комнаты держал ее на прицеле, и самое скверное – третий, главный, по всему, страж сидел на кровати, и не просто сидел, а держал на коленях сонного мальчика, приобняв его так, чтобы горло было в сгибе локтя.

Страж двинул локтем, чтобы она поняла, и она поняла, холодея, а мальчик, к счастью, не понял: он хмыкнул и повозил шеей с явным возмущением.

– Мама, мы уходим? – пробормотал мальчик.

– Да, – ответила она. – Не при нем, пожалуйста.

– Умная девочка, – сказал страж, не спеша встал и, издевательски баюкая мальчика, отнес его к пожарному выходу, который она считала наглухо заколоченным и заваленным. Он передал мальчика, пробормотавшего что-то непонятное, но, кажется, не испуганное, в приоткрытую теперь дверцу – с той стороны приняли и унесли.

И пошел к ней.

Она тут же присела, прикрывая голову и грудь.

Помогло это не особо. Зато нос не сломали.

3

– Повезло тебе, русь, – сказал Фредгарт. – Не один пойдешь. Нашли тебе напарницу.

Хейдар поднял бровь.

– То, что я пойду, уже не обсуждается, значит?

– Ну а кто еще. Вот помер бы ты – тогда бы я растерялся, а коли живой, чего думать.

– В следующий раз обязательно помру. Где напарницу-то нашли, в сточной канаве?

– Грязно мыслишь. В термах.

– А. Шлюха?

– По повадкам я бы сказал, скорее, кухарка, если не мясник. Троих там прирезала.

– Боги милосердные. Опоила, что ли?

– Если бы. Вполне бодрствовали.

– То есть она одновременно всех троих ублажала и резала? Фредгарт, ты меня переоцениваешь. Или там не гости были?

– Гости-гости. Арендовали двух девок, отвлеклись на них, тут третья ворвалась и поубивала.

– Слабы мужи вольного города Вельдюра.

– А там только один муж, двое – бродилы-разработчики.

– Ой, – сказал Хейдар очень серьезно. – Даже страшно. Мне дед про таких девок рассказывал. Рост в полдюжины локтей и грудь бронзовая?

– Нет, говорят, обыкновенная, и сама небольшая, и грудь, боюсь, тоже. Про бронзовую не говорили. Быстрая, сказали, очень. Ну и гости слишком увлеклись, одна девка просто измочаленная, ее и ломали, и резали.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/idiatullin_shamil/poslednee-vremya

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити